

Департамент культуры города Москвы
Управление культуры ЦАО города Москвы
Библиотека истории русской философии и культуры
«Дом А.Ф. Лосева»
Культурно-просветительское общество «Лосевские беседы»
Приложение к Бюллетеню Библиотеки «Дом А.Ф. Лосева».
Вып. 15

Г.Д. Белова

ПОМИНАЙТЕ УЧИТЕЛЕЙ И
НАСТАВНИКОВ ВАШИХ...
(Памяти Алексея Федоровича Лосева)

Москва ГРАНД-ФАИР 2012

ББК 74.58

Б 23

Белова Г.Д.

Б 23 Поминайте учителей и наставников ваших... (Памяти Алексея Федоровича Лосева). М.: ГРАНД-ФАИР, 2012. 112 с. (Приложение к Бюллетеню Библиотеки «Дом А.Ф. Лосева». Вып. 15)

Мемуары Галины Даниловны Беловой о великом русском философе Алексее Федоровиче Лосеве (1893—1988) не документированная хроника или беллетризованный портрет. Однако из мозаики разрозненных фактов, сохранившихся в памяти или в отрывочных записях, вырисовывается цельный и трагический облик мыслителя, данный в разных ракурсах и ситуациях благодаря тому, что автор мемуаров имела возможность видеть и знать Лосева и по издательству «Искусство», где она была редактором ряда томов его «Истории античной эстетики», и с бытовой стороны, когда в период предсмертной болезни Лосева решила взять на себя домашнюю работу в его доме.

Адрес редакции: 119002, Москва, ул. Арбат, д. 33, Библиотека истории русской философии и культуры «Дом А.Ф. Лосева».
Тел/факс: (8-499) 252-82-72

На 4 стр. обложки: А.Ф. Лосев. 1983 г.

Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.

© Библиотека истории русской философии
и культуры «Дом А.Ф. Лосева», 2012
© Издательская группа «ГРАНД-ФАИР», 2012
© Межрегиональный библиотечный
коллектор, 2012
© Г.Д. Белова, текст, 2012

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Через некоторое время после смерти Алексея Федоровича Аза Алибековна Тахо-Годи мне с грустью сказала: «Когда хоронили Алексея Федоровича, многие мне тогда говорили, что напишут о нем. Время идет, да что-то не пишут».

Теперь уже некоторые написали. Мне же всё казалось, что мои воспоминания об Алексее Федоровиче настолько личные и малозначительные, что и писать их незачем. Но вот на последних «Лосевских чтениях» я вдруг столкнулась с таким жадным интересом молодых философов к живому Лосеву, что переменяла мнение. Его читают, но хотят знать живым человеком — каким был, что говорил и даже *как* говорил. Когда я беру текст Алексея Федоровича, то слышу его голос и интонации (этим после его смерти долго спасалась — даже на дачу едешь, берешь с собой сборник, в электричке считаешь статью... и поговорили). А ведь молодые его не слышали... Для них только текст на бумаге. Но оказалось, что хотят знать, какой Алексей Федорович был в жизни, какой он живой был. Это значительно подстегнуло чувство долга. И святые отцы советовали: знаешь — скажи другим.

Записывала вспоминаясь факты, случаи, как, что, когда было. Но всё время оставалось что-то еще, неуловимое, что никак ни осознать, ни сформулировать. Ведь с первой встречи было ясное ощущение, что Алексей Федорович человек совсем не такой как те люди, что окружали меня; для меня он был человек — судьба. В конце концов, я стала другим человеком, чем была до общения с ним. Но ведь и почти все, кто общался с ним, испытывали его колоссальное влияние. В разной мере, но почти все. Что всё это значило?

Никогда и никому Алексей Федорович не читал морали и нотаций. Да он и вообще, пока его не спрашивали, как правило, не высказывался. Другое дело, что спрашивать мы были мастера. Только и делали, что спрашивали. Обо всем. Единственное, что Аза Алибековна не приветствовала, — разговоров о политике. «Вы всё спрашиваете, а потом везде будете говорить, что это Лосев сказал. Нечего об этом

говорить!» Ну да Бог с ней, с политикой! Главное — что о своем, личном спрашивали.

Иногда доходило до курьезов. Аза Алибековна порой любила пошутить. Однажды Алексей Федорович, когда уже болел, сидел в гостиной, чувствовал себя получше, и мы сильно вознадеялись на хорошее. Что-то хлопотали вокруг него. Я стою тихо и голоса не подаю. Аза Алибековна обращается к Алексею Федоровичу и происходит такой диалог.

- Алексей Федорович! А у Галины Даниловны дочь замуж вышла.
- Да?! — живо откликается Алексей Федорович. — Ну, а что же Галина Даниловна?
- Ничего!
- Как ничего?
- А так — ничего и всё. Ее ведь дочь не спрашивалась.
- Как? Как же это может быть?
- А вот так и может быть!
- Ну! — недоверчиво говорит Алексей Федорович.
- Вот вам и «ну». Теперь все так.

Аза Алибековна развлекается — развлекла его. А я стою тихо и наблюдаю игру его мимики и интонаций в ответ на ознакомление с современными нравами.

Иногда ситуации были прямо-таки сложными. Пришлось Володе Бибихину, правда, не по своей инициативе, разводиться с женой. Алексей Федорович его семью знал и любил. Когда молодой Бибихин с юной женой и маленькой дочкой приходили в гости, то Алексей Федорович всегда шутливо их приветствовал: «О, старики пришли!» Долго мучился Володя, как же сказать? Потом спрашивает об этом Азу Алибековну. Та отвечает, что, мол, так и скажи. Володя говорит, что не может. «Ну, тогда не говори!» — изрекает Аза Алибековна. «Нельзя!» — отвечает Бибихин. Вот! Ведь почему-то нельзя не сказать? Почему? Долго Володя мучился, но потом все-таки сказал, и Алексей Федорович опечалился.

Юра Кашкаров, когда затеял уезжать в Америку, тоже долго волновался о многом. Он, действительно, боялся своим отъездом повредить издательским делам Алексея Федоровича, но и не только это.

Такой отъезд — всей жизни слом. На моих глазах это было. Долго мучился, прежде чем сказать Алексею Федоровичу об отъезде; всё речи разные в редакции произносил. А потом пошел и огорчил. Не одобрил этого Алексей Федорович, но денег тайно дал. Надо же было Юре хоть одеться, чтобы не ударить перед Европой в грязь лицом, да и вообще расходов было много.

Сама же я, задумавши уйти из издательства, работала, пока не вышел очередной том лосевской «Истории античной эстетики». И опять то же самое происходило. Решила, конечно, а как сказать Алексею Федоровичу? На мое маленькое счастье тогда было лето 1981 г., и Лосев уже был на даче. Написала письмо. И получила ответ, в котором было сожаление и такая фраза: «Мы понимаем и уважаем вашу жизненную позицию». Жизнь прошла, а эту фразу помню. Это было вроде как «ныне отпускаеши раба Твоего по слову Твоему»... После этого уже поехала сама на дачу. Так было полегче. Хотя, по прошествии времени, Алексей Федорович как-то однажды шутя сказал мне: «Ты меня бросила!» «Как?! — подскочила я внутренне и внешне. — Вы же сами разрешили мне уйти из издательства!» «Бросила, бросила», — шутливо вздохнул Алексей Федорович.

После ухода из редакции я, что называется, легла на дно. Тоже ведь перемена жизни. Несколько месяцев прошло. Аза Алибековна пригласила меня и спрашивает: «Что же вы пропали?» Я отвечаю, что теперь уже ничем не могу помочь Алексею Федоровичу, раз ушла из редакции. Аза Алибековна мне — ведь не только в этом дело, а есть еще и дружба. После этого прежние отношения продолжились. Вот пара открыток того времени (телефона у меня тогда не было).

«1/X-1981. Дорогая Галина Даниловна! Спасибо сердечное за поздравительную телеграмму. Все прошло благополучно и приятно. Ваше письмо получили и рады были бы повидаться. 27-го приехали окончательно в Москву, разбирались с квартирой и делами. Только сейчас освободились. Приезжайте навестить. Я сейчас в творческом отпуске и лекций нет, так что полегче. Может навестите 18 октября (именины А.Ф., народу не бывает). Обнимаем. Ваша Аза Алибековна»

И другая открытка. «Дорогая Галина Даниловна! Просим Вас зайти к нам *по срочному делу (хорошему)*, но так, чтобы я была дома. Меня в четверг только не будет днем. В остальное время я и днем и вечером на месте. Можете не звонить и просто ехать, как Вам будет удобно (пришла верстка университетского тома). Обнимаем Вас. Сердечный привет от А<лексея> Ф<едоровича>. Ваша А<за>А<либековна>. 2/XI-<19>81». Какое дело — уже не помню, но переписка была.

Конечно, я внутренне с Алексеем Федоровичем в любом случае не рассталась бы, как и до сих пор. Но дистанцию всегда инстинктивно знала. И не могла сама действовать, пока Алексей Федорович не подчеркнул ясно, помимо деловых, человеческих отношений. Я-то люблю, да все-таки — каждый сверчок знай свой шесток.

По моим наблюдениям, со многими людьми у Алексея Федоровича были особые отношения, с каждым человеком свои. Пока был здоров, днем работал, а вечером чаще всего народ у него. Все стекались на Арбат со своей информацией, с рассказами где, что, как, а также со своими вопросами как научными, так и личными. Лосев всегда жил в гуще событий научной и культурной Москвы, да и зарубежных тоже. Всем интересно было знать, что думает Лосев, что скажет. Недаром и гуляло словцо «Арбатская Академия». Уже после смерти Алексея Федоровича еще некоторое время привычно мелькало в мыслях (да и, как выяснилось, не только у меня): надо спросить у Лосева. Как-то сказала об этом Азе Алибековне и услышала горестный ответ: «Вы все думали, что он будет всегда! А теперь его нет». Действительно, Алексей Федорович был с нами так долго, и мы как-то привыкли к этой роскоши. А потом его не стало. Придешь на Арбат, а его нет. Пустота и оглушающая тишина. Огромная острота утраты. Так было первое время.

Но вот теперь прошло более двадцати лет, как Лосев ушел от нас. По человеческим меркам это много. И многое изменилось. Но теперь нельзя сказать, что Алексея Федоровича с нами нет. Сейчас Лосев прочно, постоянно с нами. Трудями Азы Алибековны и ее соратников создан прекрасный научный центр — Библиотека «Дом А.Ф. Лосева», с книгами самого Лосева, проводятся научные конференции «Лосевские чтения», приезжают молодые ученые отовсюду, издается литература.

Стержень всего этого — имя, личность и труды Алексея Федоровича. В «Дом А.Ф. Лосева» на Арбате как встарь идут люди — так или иначе идут к нему.

Жизнь есть жизнь, всякое случается, но для меня оценочная мерка осталась прежней: что бы сказал о происходящем Алексей Федорович? Эта потребность знать лосевское мнение обо всем была просто удивительной; для меня лично она была неосознанной. Так это надежно, удобно, просто — спросил и всё ясно. Ни метаний, ни беспокойства, а каменная уверенность — Лосев знает.

Время шло, перестройка вовсю. Стали издавать книги разные, в том числе на религиозные темы. И раньше, чаще по случаю, можно было почитать древних Отцов или жития. А теперь оказалось, можно прочитать то, чего раньше не достать. Я стала с живым интересом читать и Отцов Церкви, и жития, и про жизнь монастырскую. И мне, рядовому советскому человеку, открывалось совершенно ранее неизвестное. Отцы Церкви воспринимались как фигуры легендарные; так давно всё это было и столько чудесного. Потом, например, Оптиная пустынь, уже поближе к нам. Много конкретных свидетельств как жили, как молились; среди паломников — великие деятели культуры. Уж совсем, можно сказать, в наше время трагический конец Оптиной в революцию и расправа над старцами. Много стало известно для всех, кто хотел знать, что происходило в России в те годы. А потом, в конце 1990-х пошли издания о греках, в том числе не только нового, а нашего времени, а также об афонских насельниках. Невозможно и перечислить всю литературу на эту тему, вышедшую за последние годы. Но какое чтение!

И вот читала я всё это, читала с необыкновенным чувством. Всё казалось, что прежде я что-то такое знала, что-то такое видела или слышала. Как будто что-то прочно забыто и вспомнить не можешь. Вдруг однажды, именно вдруг, одновременно — как пелена спала с глаз. То незнаемое и неуловимое об Алексее Федоровиче вдруг оформилось в мысль, будто озарение какое-то. Кто же был в сущности Алексей Федорович? Да старец он был. Старец! Вот уж правда «лицом к лицу лица не разглядеть», да еще если прибавить сюда незнание. Из книг для меня открылось ясно, что в разные времена и старцы разные

бывают. Поневоле вспомнишь евангельское — «имеющий глаза, а не видит».

Всем известно, какой Лосев большой ученый, по размаху, широте и глубине знаний — энциклопедист; наконец, мыслитель, педагог необыкновенный (любил учить), человек удивительный — мудрый и простой. Это всё вовне было, всем известно. А многие ли из современников знали о глубочайшей вере Алексея Федоровича? Кто знал, что он занимался умным деланием? Разве кто-нибудь знал, что Алексей Федорович монах в тайном постриге? Никто. После смерти открылось, так Бог управил. Для человека современной жизни даже удивительно. Принял тайный постриг, всю жизнь в нем и жил. Но когда уходил в мир иной, мог бы хоть кому-то из близких людей открыться? Нет, не мог и унес тайну с собой. Это личные, очень интимные отношения Алексея Федоровича с Богом. В «Диалектике мифа» Лосев написал: «Всё бездарно в сравнении с монашеством, и всякий подвиг в сравнении с ним есть мещанство». Этим всё и сказано.

Поскольку эта сторона жизни Алексея Федоровича была неявной, скрытой, то и разглядеть ее ясно было невозможно. Да и с чем в то время я могла сравнивать, сопоставлять?

Опорой в семье маленького Лосева был дед, а он был священник. От рождения Алексей Федорович был в атмосфере православия. Совсем так же, как и большинство религиозных деятелей, внесших вклад в православие и служивших Богу. Алексей Федорович, он же монах Андроник, был очень сильным человеком и, с Божьей помощью, стоял в жизни, как скала. Судя по тому, что известно о его жизни и из общения с ним, Лосев всегда упорно поднимался по интеллектуальной и духовной лестнице — и тайно, и явно, но всю жизнь вверх. Мыслитель, занимающийся умным деланием. Может быть, именно поэтому окружавшие его люди прислонялись к нему, инстинктивно черпали от него терпение и силу.

Позволю себе маленькое отступление в область личных впечатлений. Долгое время после смерти Алексея Федоровича меня беспокоили какие-то интуиции, что-то недопонятое из общения с ним. Какой он? Да ясно какой — мудрый, хороший, добрый, простой, надежный. И всё? Нет, что-то еще. Он не такой как все другие. Кто же

он? Откуда это теплое и удивительное ощущение при первой встрече в редакции? Почему по мере знакомства формируется в мыслях стереотип: надо спросить у Лосева? Почему незаметно, но неуклонно растет доверие к Алексею Федоровичу? Кажется, он ничего не делает для этого, просто общается. Почему возникает потребность рассказать ему о своем? И не только у меня. Почему, наконец, надо обязательно сказать ему о важных событиях служебной и личной жизни? Он же не мог никому ничего запретить. Но почему-то нельзя было не сказать. Нельзя!

Однажды я сокрушалась по семейному вопросу (не хочу его здесь конкретизировать). Алексей Федорович слушал-слушал, а потом ответил одной фразой. У меня даже внутри похолодело. Аза Алибековна стала говорить, что, может всё и не так будет. А он повторил то, что сказал. Прошло двадцать лет. Всё так и есть, как он сказал. Может, исходил из жизненного опыта, а может вдаль увидел, но всё так и есть.

Сущность духовного руководства, старчества не изменилась с древности по сей день, но форма, внешнее протекание событий изменилось вместе с современной жизнью.

Возвращаясь к житийной теме, можно сказать, что теперь очень многое прояснилось. У всех этих людей, включая Лосева, в биографиях (или житиях, — назовите как хотите) очевидно прослеживается общее. Трудный жизненный путь к вершинам духовности. Это первое. Практически у всех людей, одолевавших этот подъем, есть учителя. У Алексея Федоровича был духовник архимандрит о. Давид (Мухранов), сам много лет подвизавшийся в безмолвии, известный делатель умной молитвы. Это второе. К таким личностям всегда притекают люди. К Алексею Федоровичу шло очень много людей. Мы все до единого приходили к Алексею Федоровичу, не предполагая, что перед нами монах и молитвенник. Приходили неосознанно, но за тем же самым и с теми же чувствами. Разницы, по сути дела, не было. Это третье.

Итак, три основных линии можно выделить в феномене старчества, а в обстоятельствах и деталях у каждого старца свой путь и, естественно, с поправкой на эпоху, в которой они жили. Много среди них было простецов, но были также интеллектуалы, вернее богословы. Время

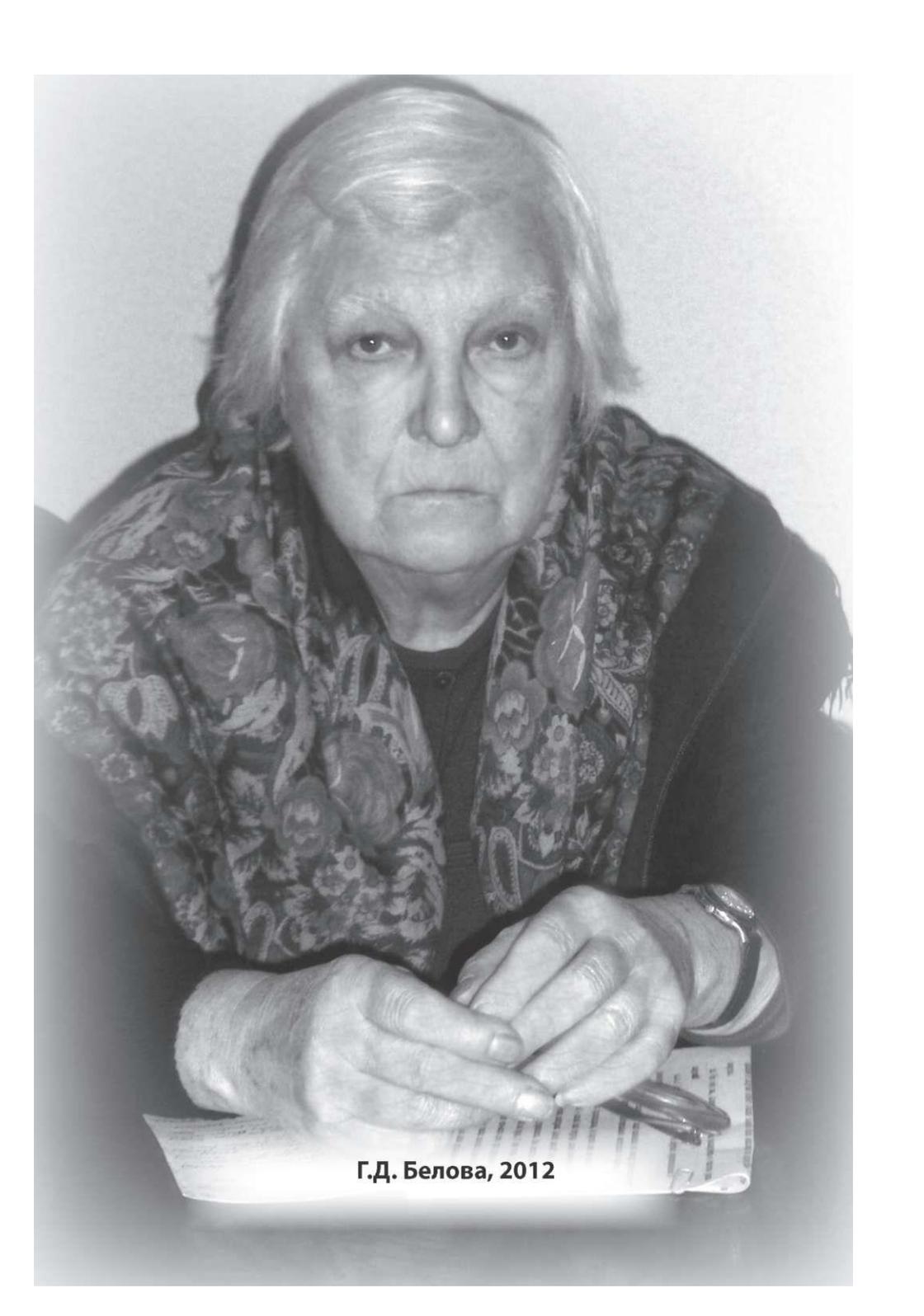
выработало канон для житийных текстов и покрыло их сединой и патиной — в них много общего, но мало деталей и различий. Хотя каждый проживал свою жизнь, отличную от всех других, время поглотило эти различия. Древние и старинные жития походят на эпос, а их персонажи на сказочных героев, совершающих немыслимые подвиги. Какими были эти люди в обычной жизни, в общении с близкими? Этого мы уже не узнаем никогда. Но жизнь продолжается, и рождаются новые люди, которые имеют целью жизни служение Богу. Благодаря, можно сказать, прогрессу, мы имеем подробные свидетельства об их жизненном пути, отпечатанные большими тиражами и часто по горячим следам. И теперь ясно видно, что все эти люди разные и неповторимые. Объединяет их, как прежде, служение Богу и высота духа, умная молитва и любовь к людям.

Всё, что изложено выше, для меня лично не столько доказывает, сколько определяет и подтверждает, что Алексей Федорович был старцем. Да, был мыслителем, ученым, автором огромного количества работ, человеком энциклопедических знаний, но для меня (думаю, что и для многих, кто знал Алексея Федоровича) — был не просто Учителем, но и старцем. Тогда мы этого не знали — жизнь другая была, а теперь ясно. И хотя не знали, но сути дела это не меняет.

Как тепло было, надежно и уютно. Думаешь, на все боки поворачиваешь, размышляешь, а когда запутаешься окончательно, то спросил — и всё. Или когда решение надо принять — ведь трудно. А тут спросил, и как надежно. Приходилось слышать, как Юра Кашкаров досомневается до того, что скажет: «Надо старика спросить». Вот все и спрашивали.

Меня Алексей Федорович изменил. Лучше ли стала или хуже — не мне судить. Но другая. Как? Когда? Каким образом? Не знаю, не заметила. Никогда не нажимал, не поучал. Ругал редчайше и за дело. Какими способами еще влиять можно? Может быть, самим собой, тем, что он был. Больше двадцати лет как Алексей Федорович ушел в мир иной, а такого человека больше не встретила. Такого человека нельзя не заметить и пропустить. Наверняка где-то на земле такие люди есть, но мне больше не попадались. Потому встречу с Лосевым воспринимаю как дар Божий, как счастье. И живая любовь моя к нему не проходит.

В Греции старцев народ называет «геронта» (что на русский и переводится как «старец»), но нередко употребляют ласковое слово «старчик». В 1970-х годах в редакции издательства «Искусство» мы между собой называли Лосева «старик», а теперь у меня в мыслях прикипело к Алексею Федоровичу не просто «старец», но это нежное слово — «старчик».



Г.Д. Белова, 2012

ПОМИНАЙТЕ УЧИТЕЛЕЙ И НАСТАВНИКОВ ВАШИХ...

(Памяти Алексея Федоровича Лосева)

Спорят и всегда спорили о *бессмертии души*... диалектика гласит, что всякое становление вещи возможно только тогда, когда в ней есть нечто нестановящееся... Душа бессмертна так же, как бессмертно все на свете, как бессмертна всякая вещь, — конечно, не сама по себе (ее можно уничтожить), но именно в своей нестановящейся основе. Если вы отрицаете бессмертие души, это значит только то, что вы не понимаете, как «бытие» и «небытие» синтезируются в «становление». Душа есть ведь только один из видов бытия.

А.Ф. Лосев. Диалектика мифа

Много лет прошло с той поры, как ушел от нас Алексей Федорович Лосев. Эти годы доказали мне, что от меня Алексей Федорович никуда не уходил. Остались книги, на страницах которых бьется не только живая мысль, но слышна живая интонация автора. А главное, что все эти годы память хранит живой образ его — голос, манеру говорить, двигаться, веселую простоту мудреца в общении с людьми. Редкий случается день, чтобы я так или иначе, хотя бы мимолетно не вспомнила Алексея Федоровича. Это не преувеличение — так есть. И я давно поняла, что для меня Алексей Федорович жив, что он не только там, но и здесь. Как это объяснить я не знаю. Может быть, это из-за моей большой любви к нему?

Долго я не заносила на бумагу свои чувства и воспоминания потому, что чувства до сих пор сильные и нежные, воспоминания до сих пор удивительно яркие, а слова кажутся беспомощными и бесцветными. Неумолимое время идет, и пора хоть как-то рассказать о былом, тем более что с годами кое-что еще узналось и переосмыслилось.

Чаще люди вспоминают о знакомстве и общении с Лосевым так: начал читать Лосева, потом увидел, узнал, поразился и полюбил на

всю жизнь. У меня все произошло наоборот. Давно это было. В 1970 году я пришла работать в издательство «Искусство», в редакцию литературы по эстетике, где издавалась «История античной эстетики», которой Алексей Федорович гордился и считал главным трудом своей жизни. На почве издательских дел и произошло мое знакомство с Лосевым.

Самое странное, что до прихода в редакцию я была уверена, что Лосев давно умер, что он классик и все. Одним словом, Платон, античность, Лосев — это одно и то же. Что-то мраморное, белоснежное и очень далекое. Кстати, заблуждалась (хотя по-своему), как оказалось, не я одна. Чуть позже мне рассказали, что в одной из зарубежных энциклопедий против фамилии Лосева стоял год его рождения и... год смерти 1937. Столько лет не издавался, что посчитали умершим.

Попав в редакцию эстетики и как-то услышав телефонный разговор редактора «Истории эстетики» Юрия Даниловича Кашкарова с Азой Алибековной Тахо-Годи, я изумилась и спросила его: «Как, разве Лосев жив?» «Конечно», — ответил Юра и засмеялся. «Жив?!» — переспросила я. Тут уж все засмеялись. А Юра сказал: «Ну что ты, в самом деле? Третьего дня я у него был, так был жив. Почему он должен быть не жив?» Действительно, почему? Не объяснять же про Платона, античность и белый мрамор.

Увидела я первый раз Алексея Федоровича на редсовете в издательстве. Он приехал, и его сразу повели на третий этаж в кабинет директора. Издательская публика стала забегать в редакцию (а сидели мы в прокуренном полуподвале, в бывшем телефонном коммутаторе) и спрашивать: «Это кто приехал? К вам? Кого повели наверх, академика?» «Да какого академика, — отвечали наши, — какого академика? Это Лосев!» А-а-а, говорили любопытные, и интонации этого «а-а-а» были самые разные.

Редсовет был обычный, но забавные штрихи остались в памяти. У стены, ближе к двери сидел Алексей Федорович и рядом Аза Алибековна, а около них пристроились Саша Михайлов, Юра Попов, Петя Палиевский, Юра Давыдов, Юра Кашкаров, Сережа Александров, Володя Походаев и, кажется, кто-то еще — все неприлично молодые и невероятно красивые. Уселись они не в ряд, а

как-то кучно, будто жались к Алексею Федоровичу, который сидел величественно, как колосс из Абу-Симбел. К этой картине прямо просилось название «Наседка с цыплятами».

Напротив же, за огромным столом директора одиноко сидел маленький председательствующий Михаил Федотович Овсянников (кстати; тоже ученик Алексея Федоровича), а поодаль главный редактор и бывший партизан Ступин Владимир Иванович, Зись Авнер Яковлевич, Рейнгард Лидия Яковлевна (за себя и М.А. Лифшица) и еще человек семь. Весь генералитет и с ними наш заведующий редакцией Ваче Самвелович Григорян. Михаил Федотович, бывший в то время деканом философского факультета Московского Университета, ласково подманивал молодых, говоря: «Что вы там сбились в кучу, идите сюда, вон сколько свободных стульев...» Молодые возлились, подтаскивали себе стулья и даже банкетки и бормотали: «Да мы уж здесь, мы как-нибудь тут будем... »

Это рассаживание невзначай обнаружило и обозначило внутренние позиции всех присутствующих. Позже Лосев уже не приезжал на редсоветы, и рассаживались, как придется. В том своем выступлении Алексей Федорович среди прочего говорил о проблеме символа на примере серпа и молота, говорил долго и с некоторым даже азартом, а твердым марксистам, сидящим напротив, это почему-то не нравилось, как-то они поеживались.

После заседания Алексея Федоровича привели вниз, в редакцию, а Кашкаров побежал ловить такси.

И стоял Алексей Федорович в нашем тесном прокуренном гадюшнике — высокий (почти под наш подвальный потолок), в пальто нараспашку, в своем котиковом пирожке, веселый и энергичный. Мы были новый состав редакции, и Аза Алибековна стала нас представлять и описывать Алексею Федоровичу: «Вот Сергей Михайлович, он такой серьезный, в очках; вот Владимир Сергеевич, он высокий, худощавый, с вьющимися волосами, а вот Галина Даниловна, она... блондинка... » Надо заметить, что седина меня обильно украсила с юных лет. Все засмеялись, и тогда Аза Алибековна поправилась: «Галина Даниловна, она... платиновая блондинка». И вдруг Алексей Федорович шутливо, с непередаваемой улыбкой говорит: «Галина Даниловна, вы моя золотистая даль». Как же ехидно смеялись мои

ехидные мальчишки, но не до них мне было в ту минуту. Никогда прежде — да и потом тоже — не встречала я такого человека и не слышала таких изящных шуток. Тут, к счастью, вбежал Кашкаров и сказал, что такси у подъезда и можно выходить. Вот так состоялось мое личное знакомство с Алексеем Федоровичем.

Вскоре Юра Кашкаров повел меня на Арбат. Впервые я увидела Алексея Федоровича дома — красивого, с одухотворенным лицом, орлиным профилем, необычайно моложавого (в свои 70 лет он не производил впечатление старика!), человека мудрого, веселого и поразительно легкого в общении. Алексей Федорович сказал: «Пожалуйста ручку!» Это меня смутило ужасно и польстило необычайно. И потом всегда Алексей Федорович при встречах здороваясь вставал, даже когда стал болеть и хуже ходить. А я всегда просила, чтобы не вставал. Это, как теперь считают, старомодное целование руки повергало меня в смущение, пока однажды по-родственному я не поцеловала ему руку тоже; тогда для меня все встало на свои места.

А в тот мой первый вечер на Арбате мы пили чай со сладостями, Алексей Федорович ел шоколад, который очень любил. Была зажжена большая люстра, хотя разговор был совсем обыкновенный: об издательских делах и обо всем понемногу. Я больше помалкивала, хотя Алексей Федорович старался меня разговорить. Теперь-то понятно, что все надо было записывать, а тогда это была просто жизнь. А жизнь разве запишешь? И не думаешь об этом, и некогда. Не могу теперь вспомнить слов и мыслей, которые были высказаны им в тот вечер, но хорошо помню обволакивающую атмосферу доброты, покоя, веселой шутивности. Прощаясь, Алексей Федорович пригласил приходить еще.

Мы вышли и все у меня неясно брезжил какой-то вопрос; потом я, наконец, сообразила, что хочу спросить. «Юра, — сказала я, — как ты думаешь, Алексей Федорович что-нибудь видит?» Кашкаров вдруг затруднился с ответом. «Не знаю, — сказал он, — может быть, видит свет, но лиц вроде уже не видит». Кажется, это и было то время, когда от Алексея Федоровича уходило последнее боковое зрение. Но Лосев никогда не производил на меня впечатление незрячего человека. Поразительно то, что об этой трагедии Алексея Федоровича

окружающие задумывались мало. Толстые стекла очков отсвечивали и как-то маскировали глаза, а живая мимика и любимые обороты речи: «это бьет прямо в глаза», «в моих научных горизонтах... просматривается», «посмотрим...», «я вижу...» — невольно сбивали с толку собеседников.

Прошло какое-то время. Однажды к вечеру — звонок в редакции. Секретарь А.Ф. говорит мне: «С вами хочет говорить Алексей Федорович Лосев». Разговор же получился такой:

А.Ф.: Здравствуй, Галина. Как поживаешь?

Я: Здравствуйте, Алексей Федорович. Хорошо.

А.Ф.: Что же ты ко мне не приходишь?

Я: Ну, что вы... Как это я к вам приходиться буду?

А.Ф.: Я же тебе сказал — приходи, а ты не приходишь. Почему?

Я: Да как же я к вам приду, Алексей Федорович? О чем я с вами говорить буду?

А.Ф.: Приходи! Я сам с тобой говорить буду...

Наступил этот день и вечер. Шла я на Арбат в легкой панике, которая все нарастала, и когда из прихожей мельком я увидела Алексея Федоровича, сидящего за столом в гостиной, красивого, значительного и, даже как мне показалось, величественного, то паника моя улетучилась. Со мной произошло то, что с пушкинским попом после третьего щелка Балды. Аза Алибековна меня ввела, посадила и удалилась на кухню. Я сижу с красными щеками, с круглыми глазами и молчу. Старик, видно, решил идти проторенным путем. Диалог был таков:

А.Ф.: Ну, как ты поживаешь?

Я: Спасибо, ничего...

А.Ф.: А как твое здоровье?

Я: Спасибо, ничего...

А.Ф.: А что ты принимаешь?

Я: Ничего...

А.Ф.: А я вот принимаю чесночные капли по китайскому рецепту: сначала по нарастающей, а потом по убывающей. Слышала ты что-нибудь про такой рецепт?

Я: Нет, не слышала ничего...

Помолчал Алексей Федорович и вдруг сделал такое движение плечами как бы сбрасывая что-то, и сказал как бы про себя и будто обиженно, что ли: «Да не буду я говорить об этом!» Потом, помолчав, спросил решительно: «Скажи мне лучше, что в редакции? Как с оформлением к тому?» Когда пришла Аза Алибековна с чаем, то у нас текла живейшая беседа на производственные темы, за чаем незаметно пошел разговор уже обо всем. Рассказ об этом факте можно закончить эпической фразой: так началось наше личной деловое общение, а что из этого вышло, кем стал для меня старик — об этом ниже.

Кстати, называя Алексея Федоровича стариком, я не впадаю, Боже упаси, в панибратство. Стариком Лосева называл Юрий Данилович Кашкаров, а за Данилычем и вся редакция. А вместе с Азой Алибековной Лосевы у нас назывались — старики. Хотя Аза Алибековна в те времена была совсем не старая, а наоборот. И как говаривал Данилыч: «то-онкая женщина».

Но не все в редакции были друзьями Алексея Федоровича. Трудно шли тома, ох, как трудно! Чтобы было ясно, с кем Алексею Федоровичу приходилось иметь дело, расскажу немножко о редакции. Заведующим нашей редакции по эстетике был Григорян Ваче Самвелович. Его пригласили, чтобы разогнать предыдущий состав редакции, увлекавшийся диссидентством и семиотикой. Задание Вачек выполнил, набрали новых (кроме Кашкарова), так попала в редакцию и во все остальное и я.

Люди поменялись, но инакомыслие не исчезло (чудеса!), тем более что в проверенную обойму ухитрились сунуть такой патрон, как Евгений Викторович Барабанов. Был он толстый, рыжий, многозначительный, православный, имел много детей (трех), покупал себе (в то время!) джинсы и всегда обедал в буфете. Стол мой стоял с его столом впритык. И все Барабан сидел, и все что-то писал мелко-мелко, и всегда прикрывал написанное ладошкой весьма нагло. А я все говорила ребятам: как Барабан хорошо живет, обедает, а мы все кофе пьем вскладчину; как бы это припасть к источникам, из которых он черпает.

Совсем недавно прежний состав редакции по эстетике попал в историю, а вернее в скандал с Даниэлем и Синявским, и был разогнан. А теперь опять что-то загадочное в воздухе висит, что-то сгущается,

кругом какие-то фразы, недомолвки, намеки. А работа идет. Цензор отдыхает, потому что самоцензура капитальная. Редакция была не просто высокого уровня, теоретическая и т.д., а головная, да не только на СССР, а и на страны соцлагеря: если у нас издать можно — значит и везде можно. При таком раскладе самовластный номенклатурный Вачек выскакивал к нам в комнату из-за своей картонной перегородки (было слышно даже, как у него стул скрипит) в своем полном праве. Выскакивал он, как Джинн из бутылки, и пил из нас кровь то из каждого в отдельности, то из нескольких сразу. По настроению. И от этих обстоятельств, которых, по большому счету, ни в сказке сказать, ни пером описать, стали мы все одной семьей, родными, кровниками.

Однажды фривольный Барабанов и говорит: «Ребята, давайте сожжем Вачека. Нас трое, и даже четверо. По одному проколу на брата три раза, у нас по строгачу, а он вылетит!» Ребята повеселились, но не согласились. Они ошибочно считали Григоряна человеком. Но и Барабан ошибался; Вачека даже ядерным взрывом нельзя было взять.

Атмосфера была уже невероятно густой, когда однажды пришел наш падишах Вачек и сказал: «Юра, я уезжаю на курорт, вы — за меня, и чтобы был порядок!» И убыл. Данилыч сразу всех отпустил домой, и все стали жить. Но счастье долгим не бывает. Тогда все слушали вражеское радио и узнали, что накрыли самиздатскую «Хронику текущих событий». А до этого невольником был кое-кто арестован, и в том числе Гарик Суперфинн за работу на Солженицына. Гарик болтался всюду, и в нашей редакции тоже. Данилыч как-то, явившись с дачи со Сходни, объявил, что он теперь молится за плененного раба Божия Гавриила. Я говорю: «Юр, да ведь он по паспорту не Гаврила, а Габриэль!» «Ну и что, — отвечает Данилыч, — Габриеля в святцах нет, а Гавриил есть». Но суть в том, что у плененного раба Божия в записной книжке оказался телефон нашего, как мы его звали, гиганта мысли и отца русской демократии Евгения Викторовича Барабанова, который оказался закоперщиком этой злополучной «Хроники». А Барабанов у нас в подвале на Цветном бульваре. Удивительно, но все пути ведут в Рим, это чистая правда.

Далее все происходило, как у Михаила Булгакова, Эрдмана и Григория Климова, взятых вместе. Внимательная организация решила Барабана взять. Пришел зам. директора по кадрам и распорядился,

чтобы завтра все без изъятия были в редакции к девяти с паспортами и военными билетами. В подъезде была устроена засада. Белобилетники Кашкаров, Александров и Походаев явились как лист перед травой. А белобилетник Барабанов — нет. Помыкались часа три, засаду сняли и уехали. А нам приказали ходить каждый день.

Прошло дня два или три, открывается дверь и является месье Барабан. Поздоровался, покрутился. Все молчат. Подошел он к нашему ушастому редакционному телефону, соединился и говорит: «Это английское посольство? Это говорит Барабанов». И тут из разговора мы поняли, что сегодня по Би-Би-Си будет передано интервью, которое он дал корреспондентам агентства «Рейтер». Облив нас всех презрением, Барабан удалился.

Сережа Александров говорит: «Ну что, Галя, хочешь припасть к тем же источникам, а?» Всеобщий большой смех надо мной. Вдруг междугородний звонок. Вот так все подряд и было. И голос Вачека, лениво и высокомерно спрашивающий: «Ну что, Галя, там у вас? Все тихо?» «Да как вам сказать», — говорю я. «Ну что там еще?» «Долго рассказывать, — говорю я, — слушайте сегодня вечером Би-Би-Си. «Что? — спросил Вачек коровьим голосом. — Когда?» «Да вечером, — говорю, — по всем волнам, наверное, будет». И Вачек дал отбой, не спросив больше ничего.

Вскоре Григорян приехал, поинформировался и принялся за нас. Еще до его приезда, когда наше помещение поставили на прослушивание, мы несколько дней молчали вообще, жестами вызывали друг друга в коридор и там разговаривали. А дня через три Данилыч вдруг сказал: «Да пошли они... Я служу за 140 рублей своему Геббельсу по пропаганде, и хватит этого. А уж что я думаю и говорю — это мое дело!» И все стали говорить как обычно, а говорили мы по тем временам как-то насквозь недружественно ко многому и неуважительно. В других казенных местах люди так не разговаривали. Вачек же в своей картонке слышал каждый звук и каждую букву. И бесился.

Сидим мы как-то с Данилычем, никого не трогаем, работаем и изредка перебрасываемся ехидными замечаниями. Вдруг, как смерч, в бешенстве врывается Вачек и начинает орать. Данилыч молчит, а я — нет. «Вот, — шумит Вачек, — язык ваш — враг ваш! Не можете

помолчать!» «Да мы, — говорю я, — ничего не делаем». «А вы, Галя, если будете искать "жучки" — будете иметь неприятности!» «Чего я буду их искать, — говорю я, — что я, дура, что ли? Я их найду, а их опять поставят». Тут Вачек подпрыгнул до потолка: «Вы дождетесь, что вас заберут!!» «Ну, — говорю, — если нас заберут, то и вас поведут под белы руки; вы ведь наш начальник, значит, всему голова». «Меня не поведут! — завизжал Вачек, — меня не поведут! Я на всех вас пишу куда надо каждые две недели!» Сцена. Вачек захлопнул рот и замер, я вытаращила на него глаза, а Данилыч и головы не поднял, еще ниже нагнулся к рукописи. Постояв в ошеломлении, Вачек ушел в свой картонный коробок, потом целую неделю к нам не ходил, сидел тихо, только стул скрипел. Но потом стал заходить сначала робко, а вскоре как ни в чем не бывало.

Одно было наше везение, что наш родной Григорян был и есть непроходимо глуп, поэтому до времени мы с ним как-то справлялись. История же с подрывной деятельностью закончилась трагикомически: мы остались на своих местах, но на плохом счету (а на хорошем никогда и не были), раб Божий Гавриил сел, а Барабанов, успевший вовремя крикнуть «Караул!» агентству «Рейтер» — нет. Многоумный и мстительный Вачек, исполняя указание сверху или сбоку, придумал: хлоп! и уволил Барабана за прогул. И записали в трудовую книжку. А у Барабанова жену — хлоп! — и разбил паралич, да еще у них трое маленьких детей. Барабан — хлоп! — и принес Вачеку больничный лист по уходу за женой. Восстановили его и запись в трудовой зачеркнули. Но тут вмешались серьезные умные люди. Комитет по печати приказал сократить штат редакции на одну единицу. И этой единицей оказался (ну кто бы мог подумать?)... Барабанов Евгений Викторович. И Барабан, еще так недавно злорадно ждавший подписания Хельсинкского пакта о правах человека, замышляющий «сечь» Вачека, гордо демонстрировавший всем трудовую книжку с зачеркнутой записью об увольнении, канул в Лету. А возродившийся, как птица Феникс, Вачек на открытую моментально штатную единицу взял некую мадам Игошину, которая, получив на редактуру статью Лосева о Рихарде Вагнере, над каждой строкой надписала свой текст, чем несказанно удивила Азу Алибековну. Зато политически Игошина была абсолютно благонадежна. Тогда Аза Алибековна договорилась с

Вачеком, что подаст эту статейку в готовом виде, сокращенную и отредактированную. Все это с Рихардом Вагнером я и проделала тайно. Помню, что у меня в новой квартире, полученной от издательства, не было телефона семь лет, но был автомат в подъезде. Там я и снимала вопросы с Лосевым. Вот и говорю, что текст о переписке с Матильдой Везендонк надо восстановить и оставить, иначе будут смысловая дыра. «Хорошо, — говорит старик, — восстанавливай». Потом с надеждой спрашивает: «А нельзя ли восстановить остальное?» Я объясняю, что издание серийное и объем вступительной статьи нельзя увеличить. «Ну, ладно», — печально соглашается Алексей Федорович. Я случайно роняю листы рукописи на слякотный пол подъезда, говорю — ой! — и этим снятие вопросов заканчивается. Иду оттирать и подпечатывать рукопись. Потом Игошина вкладывает статью в папку с рукописью и несет в производство. Иногда и таким способом издавался Лосев.

По этому фрагменту можно судить, как мы жили. Теперь вспоминать смешно, а тогда...

Когда однажды я в очередной раз пришла с грустными новостями, что Вачек чего-то не пускает, то Алексей Федорович, обращаясь к Азе Алибековне, тихо спросил: «Может быть он знает?» «Что, что он знает?» — спросила я. И оба они замолчали. Позже я поняла, что они имели в виду прежние гонения и лагерь. Тогда я говорила, что Вачек просто негодяй и нечего на него обращать внимание. Не такая уж он фигура. Но Алексей Федорович неоднократно шутливо говорил: «Страшнее Григоряна зверя нет. Вот Комитет по печати разрешает мне издавать тома, большие начальники ходатайствуют, подписывают, а Григорян держит рукопись — и все. И ничего не сделаешь».

Как-то, в самом начале 70-х, Григорян сказал мне: «Чего вы спешите издавать? Старик, может, умрет скоро?» Ах, как меня это резануло, по самому сердцу! Прошло времени чуть-чуть. Комнаты в редакции были смежные, проходить надо было через Вачека, отгороженного по проходу шкафами. Дверь настезь. Захожу. Окно тоже настезь, сквозняк сильнейший. Сидит Вачек, красивый своей дурманной восточной красотой, сидит в своем деревянном скрипучем кресле и пьет пиво. Веселый. И впала я в какое-то сомнамбулическое состояние. Задумчиво так смотрю и спрашиваю: «А знаете вы, Ваче

Самвелович, что такое нефрит?» «А что?» — говорит он. «У вас почки в порядке?» «Нормально, — говорит он, — почему вы спрашиваете?» А сам еще и вентилятор включил. Я говорю, что сквозняк и пиво нехорошие предпосылки для почек. «Ерунда», — говорит и смеется.

Через несколько дней пришел весь зеленый и стал вопить: «Вот вы, Галя, вечно так! У вас глаз черный! У меня поясница заболела, я пошел к врачу, сдал анализы, говорит пиелонефрит! Это все вы накаркали!» С тех пор стал Вачек болеть почками и красота его быстро истаяла. Что это было — не знаю, но было так. Злоба в нем всю жизнь была непомерная, какая-то вселенская. А может еще и зависть? Мы были как-то мимолетно в гостях у Григоряна, еще в той комнатухе, которую он — иногородний — снимал. Стены абсолютно голые и только два портрета — Гегеля и самого Вачека. Причем Гегель — фотография из книжки в рамке, а Вачек — большой портрет Гончарова, писанный маслом.

Аза Алибековна мне рассказывала, что был на даче период, когда Алексей Федорович особенно остро переживал, что издают медленно. Ночью бессонница и все говорил: «Аза, поезжай в Москву, скажи им, что я не могу ждать так долго, я же старый!» А куда ехать? Кому говорить? Григоряну?

Это моменты, я бы сказала, трагические. Но были и другие. Приехала как-то на дачу к ним по делам. Алексей Федорович на террасе в соломенном своем кресле-качалке; рядом две огромные, как телята, мохнатые собаки — Пиратка и Малышка. Они были очень привязаны к старику и все вертелись рядом и прислонялись к нему. Алексей Федорович в хорошем настроении, веселый, свежий, в своей «академической» шапочке, красивый орлиным своим профилем и неотступные Пиратка с Малышкой. Очень живописная картина. Обговорили дела, а потом они писали деловое письмо Григоряну. Аза Алибековна спросила, как же подписать? Алексей Федорович сказал: «Подпиши — "твой старик"». И смеялся. Аза Алибековна сказала, что лучше не надо, а то еще обидится. Алексей Федорович сказал смеясь: «Чего же обижаться? Я ведь действительно старик!»

Вынырнув из омута злобы, который я немножко описала выше, я приходила к Алексею Федоровичу и попадала в такую атмосферу покоя и доброты, что мгновенно открывалась навстречу. Алексей

Федорович был человек простой, мудрый и веселый. Простой — понятно почему, потому что мудрый. А вот почему веселый, это я по-настоящему только в последние годы поняла. Тогда казалось просто веселый и все, а на самом деле ровный в общении, легкий, светлый, будто внутри спокойный огонь горит. Но об этом попозже, а сейчас вспоминаются просто забавные ситуации.

Алексей Федорович всегда интенсивно брал информацию сегодняшнего дня, читал передовую «Правды», «Известия», другие газеты, слушал «Немецкую волну» и другие вражьи голоса. А потом радио стали сильно глушить. Однажды Алексей Федорович мне говорит: «Галина, ты не знаешь, когда прекратится это хулиганство? У вас на окраине хоть что-то слышно, а у нас здесь — ничего! Врагов надо слушать. Это очень ценно».

В одной из передач «Немецкой волны» я услышала, как кто-то говорил, что Лосева в СССР много издают, и рассказала об этом старику. Реакция была неожиданной. Он помолчал, а потом и говорит: «Они что, хотят сказать, что я советский лизоблюд?» «Почему?» — ахнула я. «Ну, раз много издают, значит, я советский лизоблюд». «Да вы, — говорю я, — через такие тернии прорастаетесь!» «Да ведь этого, — резонно отвечает старик, — этого-то никто не знает!»

В другой раз рассказала Алексею Федоровичу, что Швеция засекала в своих водах нашу подводную лодку, и теперь на всех радиоволнах шум. Алексей Федорович протяжно так сказал: «Кишка тонка!» И несколько раз повторил, что у шведа кишка тонка и смеялся, да и я вместе с ним.

У Лосева всегда было несколько секретарей, иначе за ним, наверное, было не угнаться. Одно время секретарями были Володя Жданов и Боря Каганович. Алексей Федорович смеялся и говорил: «Ну и фамилии у вас, ребята!» Л.М. Каганович ведь лично и публично, на съезде заклеил Лосева, из чего проистекло много несчастий. Алексей Федорович говорил своему молодому секретарю: «Боря, ты бы хоть сменил фамилию, взял бы мамину фамилию, а?» В ответ Боря только смеялся и в перерывах диктовки, пока Алексей Федорович думал, рисовал всякие лица и inferнальные рожи на обороте. И рисовал очень хорошо. Иногда такие разрисованные листы рукописей Алексея Федоровича попадали в издательство. Впечатление бывало

экзотическое. Если же серьезно, то Алексей Федорович про Бору сказал, что он очень способный и высокообразованный человек. Получить такое определение из уст Лосева много значит.

Вообще удивительно, сколько интересных хороших людей окружало Алексея Федоровича. После своей поездки в Грецию пришел к нам в редакцию Бычков Виктор Васильевич. До слез трогательно рассказывал об Афоне. Я спросила, был ли он у Алексея Федоровича и рассказал ли ему обо всем. Бычков сказал, что старик интересовался могилой Аристотеля и в лицах изобразил эту беседу.

— Видел ли ты могилу Аристотеля? — спросил его Алексей Федорович.

— Нет, не видел.

— А ты был в Стагирах? Что там теперь?

— Рыбацкий поселок.

— Ну, ты искал там могилу?

— Искал, да уже нет ничего.

— Да ты бы пошел туда...

— Куда?

— Туда, подальше... — и махнул рукой в сторону. — Ты хорошо искал-то? Как же, могила такого человека и не уцелела?

— Да ведь сколько времени прошло? Нет там теперь ничего, маленький рыбацкий поселок.

Алексей Федорович огорчился.

Эти воспоминания идут не в хронологическом порядке, потому что тогда я почти ничего не записывала. И жизнь лихая была, и на ум не приходило, что может понадобится. А жаль, теперь очень жаль. Но, в конце концов, это же не биография, а живые штрихи к живому портрету.

Алексей Федорович с большим уважением относился к людям, к своим коллегам, ученикам, аспирантам. Учил с удовольствием, любил принимать экзамены. Как искусный садовод взращивал свой научный сад. Недаром бытовало выражение «арбатская Академия». В своих трудах ссылался на статьи молодых, не обходил их вниманием, а ведь это своего рода признание и поддержка.

С Шестаковым Вячеславом Павловичем он издал в соавторстве книжку, разделили по главам и написали о категориях. Книга имела

успех. На титуле две фамилии: Лосев и Шестаков. Алексей Федорович сказал где-то про Шестакова, что он гармоничный человек. Ну, как же! Молодой философ, эстетик, горнолыжник, ныряльщик и всё, всё, всё. Привозил на Арбат в подарок ручки от амфор, которые сам доставал со дна моря. Пошел Слава в гору, ученик Лосева! Правда, он не столько писал, сколько составлял сборники. Составление и внешняя редакция — это хороший быстрый заработок. И прислоняться стал больше к М.А. Лифшицу и А.Я. Зисю.

Придумал Вячеслав Павлович составить и издать двухтомную антологию «Эстетика Ренессанса». Редакция решила заказать вступительную статью Лосеву. Естественно, послали рукопись на Арбат. Алексей Федорович статью написал и прислал вместе с замечаниями по составу антологии. Тут и началось нечто волшебное. Слава забегал к Вачеку, шу-шу-шу, и просочилось руководящее мнение, что статья не годится. Как, почему? Ребята начали смеяться и говорить, что Славка сам написать статью хочет. Мне казалось, что этого быть не может. Пошла я на Арбат и рассказала, что они статью хотят выкинуть, что она, мол, не годится. А как же простая порядочность, отношение к истине, договор, наконец? А никак.

Аза Алибековна горячилась и предложила самим отказаться от участия в издании. Но старик был по натуре боец и сказал свое неожиданное «нет»; договор есть и пусть статья будет. Покрутились наши орлы, повозились и принесли Шестаков в редакцию рецензию на статью своего учителя Лосева. Вот вам и ручка от амфоры, добытая собственной рукой со дна Черного моря!

Принесла я это произведение на Арбат. Было в этом опусе сделано Вячеславом Павловичем 12 замечаний. Довелось мне присутствовать при ответной реакции. Аза Алибековна рассердилась ужасно. Текст был примерно такой: все это хамство, а эту чушь надо порвать и выбросить в мусорное ведро. Алексей Федорович помолчал и сказал на удивление спокойно: «Все эти дразги к науке не имеют отношения. Надо посмотреть, изучить и, если есть что дельное, то принять». Впоследствии из 12 пунктов он принял два замечания, остальные аргументировано отверг. Но не таковы были эти ребята. Ничего не помогло. Какая еще наука?! Вачек под какими-то фантастическими

предлогами статью выкинул. (Потом эта статья была издана в сборнике Института философии).

Дальше началась вторая серия этого кино. Как всегда смешная. Через несколько дней пришел Шестаков и принес свою собственную вступительную статью. Вачек мгновенно прочел, оценил и сказал дословно следующее: «Слава! Это даже хуже, чем у Лосева!» В результате антология вышла шикарно изданная, но вместо вступительной статьи — маленький текстик, похожий скорее на развернутую аннотацию, и озаглавлен так: «От составителя». Но наивно было бы думать, что и этим все кончилось. Советская власть при всех своих недостатках четко исповедовала принцип — свой глазок смотрок. На первой же коллегии в Комитете по печати СССР, в присутствии министра (кажется, Михайлова), была раздраконена злополучная «Эстетика Ренессанса», и, в частности, по составу были сделаны те же замечания, что сделал нашим ребятам Лосев. Шестаков крепко получил по шапке в своем институте, а Вачеку директор накрутил хвоста так, что хвост чуть не оторвался.

Не лишне заметить, что в своей концепции возрожденческого сознания прав оказался Алексей Федорович. Теперь это ясно всем нормальным людям. Недавно мне попала книжка «Религия антихриста», изданная в Новосибирске двумя авторами — Вячеславом Алексеевым и Андреем Григорьевым. Первая глава посвящена истории вопроса, обоснованию критики опасного современного течения «Нью Эйдж» («Новое сознание»). В этой главе авторы базируются только на «Эстетике Возрождения» Лосева, приводя огромные фрагменты. Получается, что Лосев борется с антихристом и сегодня.

А веселая история с антологией закончилась так. В один прекрасный весенний день пришел в редакцию спортивный Шестаков, раскрыл свой классный кейс с секретом и преподнес мне цветок рододендрона. Удивилась я. Ездил, катался на лыжах, нарвал, на самолете привез. Мне. Ларчик открылся очень просто, как кейс Славы Шестакова. Он действительно приехал с какой-то крутой горы, привез цветков, раздавал по инстанциям, а с последним рододендроном смело тронулся на Арбат. Аза Алибековна цветы любила по-прежнему, а Шестакова уже нет, и четко проводила его, отказала от дома совсем.

Но не пропадать же добру. От Арбата до «Искусства» в Собиновском переулке расстояние короче воробьиного носа. Так и я получила в подарок цветов рододендрона.

Шестаков же с тех пор сделался прямо каким-то двуликим Янусом. Приходя в какую-либо редакцию, где старика почитали, он прямо говорил, что он ученик Лосева, вот и книжка в соавторстве; появляясь же у тех, кто старика не жаловал, он так же прямо говорил, что старик — ничего особенного, а совместная книжка — это так просто. Я этим рассказам уже не удивлялась, тем более что даже, как поведал Кашкаров, и ручки амфор оказались не с морского дна, а изделиями современных гончаров, продающихся на кавказских и крымских пляжах. Но каков?!

В каком-то разговоре Алексей Федорович сказал мне: «Все можно простить, но предательства прощать нельзя!» Я тогда немножко удивилась такой категоричности, потому что человека православнее, чем он и сыскать трудно, а вот на тебе. Хотя сама-то я только так и думала, и сейчас так думаю. Бывали все-таки беседы, были разговоры тихие и ненавязчивые. Как-то говорю ему: «Не могу я в этих делах (финансовых) с ними быть вместе и молчать. Вот и скандалы. Замучилась я. Ведь я все-таки человек верующий». А он мне говорит твердо так: «Я знаю, что ты человек порядочный». В каком-то другом разговоре, наверное, о заповедях, я с сердцем так сказала: «Не могу я, например, Вачека ни простить, ни тем более любить! Вот и все мое христианство!» И старик промолчал. Ничего не сказал. Но ведь не стал меня порицать, не осудил же!

Из таких разговоров, слов, фраз складывалось что-то, что незаметно, но очень сильно влияло на меня. Думаю, что и не только на меня. К Алексею Федоровичу прилеплялось много людей разных, но в основе своей хороших. Почти каждый вечер кто-нибудь приходил. Обычно старик весело говорил: «Аза, надо кормить народы, они же со службы пришли». Люди бывали и маститые, и попроче. Жил Лосев в гуще событий, много информации стекалось на Арбат.

За одним из чаепитий говорили что-то о письмах, подписантах и т.п. Алексей Федорович решил пошутить и говорит: «Я тоже могу в Моссовет письмо написать. У нас во дворе такие ямы на асфальте, что ходить невозможно». Аза Алибековна бодро подхватывает:

«Напишите, напишите! Вот вас отсюда и выселят!» Старик опасливо замолчал, потому что действительно всех уже выселили, и будь он сам чуть помельче калибром, так и его бы выселили. Ямы же были и оставались отменные, и ходить ему было опасно.

Практические правила уже в той жизни изменились сильно и удивляли его. Пришла, а Алексей Федорович рассказывает, как накануне вечером гулял с аспиранткой по Арбату и молодой человек так задел его плечом на ходу, что чуть не сшиб. «И ты знаешь, не остановился, не извинился даже. Так и ушел». Ну, говорю, Алексей Федорович, по теперешним временам это ерунда. «Как ерунда?! Да ведь он меня чуть не сшиб и не извинился!» И долго еще изумлялся и недоумевал.

В конце концов, тот молодой человек только чуть не сшиб с ног Алексея Федоровича. Зато наши отцы-начальники однажды сшибли с ног Лосева в прямом смысле слова. В тот момент один том Лосева был в производстве (верстка шла), а еще один Кашкаров сделал и впихнул в план текущего года. Я до сих пор не знаю, откуда именно сверху сочилась к нам вниз эта гнусность — не издавать! Вачек же был идеальным исполнителем таких штук. Вдруг том, который в производстве, останавливают, а тот который в плане, переносят на следующий год. Причина? Слишком много Лосева.

Кашкарову приказали срочно делать «Историю эстетики» Татаркевича. Вроде как дружба народов. Вот тут Данилыч запаниковал. Целый день нас спрашивал, что сказать старику. На все боки поворачивали, а что скажешь? Ну, нечего сказать и все. Потом кто-то предложил: давайте скажем, что печатная машина в типографии сломалась. Поверит ли? А дальше что? «Ладно, — сказал Данилыч, — давайте скажем, что машина сломалась, а дальше, что Бог даст». Пришел Кашкаров с Арбата и говорит, что сказал про машину, старик-де насторожился, но вроде ничего.

Взял Кашкаров рукопись Татаркевича, которую сам же давно легкомысленно одобрил, глянул в нее и увидел (это была правда), что перевод негоден, о чем и доложил начальнику. Как кричал глупый Вачек, как он кричал! То прибегал, то выбегал, хлопая нашей фанерной дверью. Финал был таков: Вачек вбежал и прокричал, как будто был не здесь, а во Владивостоке — вы, Юра, одобрили, теперь сами и

переводите, а то я с вас эту сумму 60% взыщу. Юрий Данилович принес словари и занялся переводом польского академика. Перевод — дело долгое. Вачек топтался вокруг как конь и ежеминутно говорил: «Давайте, Юра, давайте. Не тяните». Когда Вачек уходил, Данилыч пил чай с булочками и, вынимая снизу бумаги, переводил что-то религиозное с французского. Кто-то попросил.

Через неделю позвонил с Арбата секретарь и сказал, что Алексей Федорович интересуется, починили ли машину в типографии. Я пролепетала, что нет, еще не починили. Через неделю опять звонок, и опять то же. Еще через неделю приходит Кашкаров с Арбата и говорит: «Все!: Старик лег умирать!» Как?! Что?! Данилыч рассказывает, что пришел, старик лежит, не встает, секретари плачут, руки ему целуют; не встает, потому что ноги отказали, и говорит, что он все понимает и нечего обманывать. Несколько дней все сидели подавленные и ждали, что будет, что же Бог даст. И Бог дал.

Прибежал от начальства Вачек и спросил: «Вы не забыли, что конец полугодия? Кто что сдает?» Оказалось, что никто ничего не сдает. По объективным причинам. Кто-то выложил рукопись, жалкие 20 листов. Тут Вачека чуть удар не хватил. «Это с четверых за полгода 20 листов? Вы смеетесь? Вы хотите, чтобы меня что... ? Да я вас, да я вам... » Все молчали, Данилыч, как пчелка, сидел посреди редакции со своими польскими словарями, переводил. Григорян выбегал и прибегал обратно. Наконец, он прибежал в последний раз и спросил Кашкарова: «Юра, а у вас-то что-нибудь есть?» «Вот, Татаркевича перевожу», — смиренно ответил Данилыч. «А еще что-нибудь есть? — с надеждой спросил Вачек. — Горим ведь, горим синим пламенем». «Конечно, есть», — равнодушно сказал Данилыч. «Что?» — крикнул Вачек. «Лосев», — ответил Кашкаров. Сколько? «В типографии пятьдесят, да готово к производству пятьдесят с чем-то», — спокойно сказал Юра. «Так давайте, Юра, давайте! Не тяните!» — крикнул Вачек и куда-то убежал. Данилыч молниеносно заполнил паспорт и бегом в производственный отдел. Сдал. Вечером побежал на Арбат и сообщил, что все машины починили, что еще том сдан в производство, что все хорошо, хорошо, хорошо.

Алексей Федорович стал поправляться, встал, но с той поры ходить стал хуже. По-разному издавался Лосев, но и таким образом, к сожалению, тоже издавался. И это ученый с мировым именем!

С этой публикой иметь дело — все средства хороши. Я это быстро поняла. Позже, в другом томе не влезало в объем Приложение. Как ни кручу, все листов пять или шесть превышение. «Да сколько можно, — подумала я, жутко разозлясь, — сейчас опять скажут сократить и выкинуть». Взяла начало с заголовком «Приложение», отсчитала страниц 25-26, где мысль заканчивается, и отправилась наверх. Сидел в этот момент второй заместитель главного редактора (курировал театр и драматургию), он же парторг, и мы с ним обычно дела не имели. Вошла в кабинет и улыбаюсь на миллиард долларов. Тут, говорю, в досыл Приложение к тому, один лист, подпишите, пожалуйста. «А это что?» — спрашивает он. Я показываю, кручу, листаю, отдаю и отвечаю: «Да-а-а, это Лосев». «А-а-а, — говорит он, — ну, конечно, как же, Лосев...». И визирует. Я улыбаюсь еще шире и вниз, к себе в подвал. Прикладываю к этим страницам всю пачку и в производственный, где небрежно говорю: «Вот это, в досыл, вот виза». Все? Все.

Когда книжка вышла, Вачек говорит мне: «Что-то она еще толще, чем предыдущая?» А я говорю индифферентно: «Вы же видите, что это бумага другая, вот она и толще». Он бурчит, что здесь, наверное, превышение (не помнит объема, а смотреть в договор лень), но пусть бурчит. В душе я смеюсь. Это сигнал. Тираж уже идет.

Как мы ликовали, когда вышли подряд два тома «Истории античной эстетики». На радостях Алексей Федорович пригласил нас всех в гости на профессорский ужин. Это мне запомнилось. Вачек сказал, что не пойдет, потому что это будет как бы взятка борзыми щенками. Честный вы наш, Ваче Самвелович! Курет вы наш неподкупный! Мариупольская сказала, что не может, занята. Ясно, всегда нос по ветру. Если бы Лифшиц пригласил, то, небось, не была бы занята; но он никого и никогда не приглашал, что и к лучшему. Итак, двое отпали. А мы четверо — Кашкаров, Сережа Александров, Володя Походаев и я, — мы пошли.

Вышли после работы на Цветной бульвар, вдруг Юра говорит, что надо цветов, Аза цветы любит. Центральный рынок нас выручил

большим букетом, и мы отправились. Пришли. Приветствия, поклоны, цветы и все такое. Аза Алибековна встретила нас в бархатном платье с ниткой кораллов на шее и с парадными бриллиантами в ушах. Праздник. Но мы были одеты как обычно, зато Данилыч нарядился за всех... На Сходне в палатке он купил не то куртку, не то пиджак из какого-то дерматина цвета несвежего яичного желтка; она скрипела как седло и за версту источала запах ядовитой химии. Вот в это он и нарядился. Кстати, потом он в этой куртке не один год ездил по Европе и в Америке, — фотографии есть, — и ничего, не подвела Сходня! Но тогда этот пиджак был новый и очень ароматический.

Выходит к нам Алексей Федорович, радостный и довольный, а мы все вдруг, кроме, конечно, Кашкарова, оробели. Потом пошли за стол, Аза Алибековна хлопочет, разливают шампанское. Вдруг Аза Алибековна говорит, беря полный бокал Алексея Федоровича: «Это что же такое? Это кто налил?» Походаев сказал, что он налил. «Да вы что, Володя? Да разве это можно столько наливать Алексею Федоровичу? Ведь ему голова нужна работать!» Володя стушевался ужасно и далее молчал как мертвый. Аза Алибековна оставила шампанского на доньшке, три глоточка — не больше, и дала Алексею Федоровичу, который молчал, как будто его это вообще не касается. Он это умел. Данилыч стал накручивать какой-то немислимый тост, все выпили, стали закусывать всякими вкуностями, но беседа не шла никак.

Данилыч сидел в торце стола, скрипел своей курткой и говорил светские тексты на старинный лад типа: погоды стоят дивные и т.п. Он это любил. Мы же уперлись как буки и молчим. Никто из нас как-то не подумал, что Алексей Федорович нас не видит, а раз молчим — то и не слышит. Вот это гости! Наконец Данилыч иссяк со своими погодами и визитами. Повисла глупая тишина. Аза Алибековна говорит: «Интересно, Юра, из чего сделана ваша куртка?» «Из навоза», — вдруг мрачно сказал Алексей Федорович. Куртку он не видел, но запах-то чувствовал. Мы так смеялись, что поневоле немного оттаяли. Потом Аза Алибековна стала нас оделять горячим, хотя мы сгоряча уже наелись закусок. Горячее было утка. Я победно сказала: «А мне досталась нога!» Потом: «Ой, Юр, тебе тоже нога!» Потом смотрю — и Сереже нога. И Володе нога! Это что же, говорю, за утка?» Сережа

сидит и говорит себе под нос: «Это такая... многоногая утка». Смеялись все надо мной от души, и я сама больше всех.

И все-таки робели и стеснялись. На вопросы отвечали, а чтоб самим говорить — ни-ни. Собрались уходить, Алексей Федорович встал и спрашивает: «Что же вы молчите-то, не разговариваете?» Мы ежимся и опять молчим. Он говорит: «Галина, а ты-то что молчишь?» Я отвечаю: «Да я не знаю, что говорить...» «Ну, — сказал старик, — раз молчите, тогда уж приходите на похороны, там разговаривать не надо». Почему мы так стеснялись? Это наверное то же, что было со мной, когда я в первый раз с Лосевым разговаривала и все повторяла одно слово — «ничего».

Наивно было бы думать, что этот пир и был счастливым концом истории с томами. У нас так не бывало. Только мы тихо устроились почивать каждый на своих лаврах, как все нарушил звонок из главной редакции. Я говорю: «Юр, иди, тебя зовет Шуб». «Зачем?» — невинно спросил Данилыч. «Не знаю, — сказала я и почему-то добавила, — иди, он тебе сейчас буридану sprysнет». Когда Кашкаров вернулся, то лицо у него было ошеломленное. «Ну?» — спросили мы все вместе. «Выговор», — ответил он. За что? «За перевыполнение плана», — ответил он. Да разве за это наказывают? «Там сформулировано за неритмичную работу и плохое планирование. Сто с лишним листов Лосева — это ни в какие ворота», — пояснил Данилыч. И премию, конечно, срезали. Юра не расстроился, он был человек не жадный, а щедрый, но очень был этим фактом изумлен. Это все реалии того времени.

Беда иногда приходила оттуда, откуда никто не ждал. Тот же Кашкаров делал книжку «Рильке об искусстве». Со скрипом шло издание, цензор таскал, не пошедшего материала было много (это то, что снимали), начальство придиралось. Наконец все рогатки пройдены, книжка вышла, доходят до нас слухи, что Рильке продавали в книжном на Кировской, народу набежала тьма, вызвали конную милицию, а потом в мегафон кричали: «Рильке кончился! Рильке больше нет! Расходитесь!»

Мы сидели и посмеивались. Успех! Оказывается, слава-то бывает о двух концах. Узнали об этом в Комитете по печати, вызвали директора и спросили строго: что это такое? Директор наш, Евгений Иванович

Савостьянов, — хороший был человек, Царство ему Небесное! — принял удар, взял под козырек, обещал наказать и вернулся в издательство. А кого наказывать? Не Рильке же. Наказывать опять редактора, опять Кашкарова, опять с какой-то замысловатой формулировкой.

Выговор и лишить премии. Я разъярилась, написала в местком заявление о материальной помощи (в размере премии) и пошла к председателю месткома. Он уже был в курсе и сказал, что с эстетикой вечно неприятности; сам он ведал редакцией кинофототехники. «Николай, — говорю, — Дементьевич! Чем Кашкаров виноват? Он что, эту конную милицию звал, что ли? Вы все время деньги отнимаете, скоро человека нищим сделаете! Давайте деньги и все, а я ему отдам». «Не шуми, — говорит мне этот лукавый царедворец, — подожди хоть недельки две. Получится, что мы одной рукой отнимаем, а другой даем?» Позже деньги дал и вопрос закрылся. Правда, директор с тех пор, когда приносили на подпись что-нибудь из нашей редакции, всегда спрашивал: «А мне за это ничего не будет?» И все-таки не читал, так подписывал. Святая душа!

Недавно издали Рильке. Лежит, и не очень берут. Наелись, что ли? Конечно, запретный плод сладок. Но зачем это делалось, до сих пор не пойму. Идиотизм или нарочно, чтобы пружина лопнула? Или всё вместе. Ловили кого-то, чего-то, а в результате получилась вон какая демократия. Любо дорого. Теперь если всех, кто заслужил, переловить, то никаких тюрем не напасешься.

В то же самое время, как я пишу эти строки, сбылись мечты гонимого Барабанова. Для этого потребовалось немного: разрушен Советский Союз, сменен социальный строй, перестало существовать издательство «Искусство», слитое с чем-то еще под руководством какой-то коммерческой личности, и только тогда Григорян за ненадобностью был выброшен... на пенсию, на заслуженный отдых. Конечно, после таких трудов что и делать, как не отдыхать. Горе в том, что большинство таких Григорянов осталось при своем деле, при подлом номенклатурном паразитизме и лихоимстве.

Жизнь наша тогдашняя продолжалась и всё такая же беспокойная. Возмечтал Кашкаров уехать за границу. Причин, как ему казалось, было много. Сначала мечтал тайно, а потом и явно. И сразу стал волноваться: не повредит ли это старику? Ведь он редактор его работ. По зрелом размышлении решили, что если ехать без шума, сразу, как бы тайно, то ничего. Старик будет ни при чем. После чего Данилыч побежал на Арбат. Там его убеждали не уезжать, предлагали одолжить денег на кооператив, чтобы жить отдельно от матери, но ничего не помогло. Очень уж хотелось.

Уехать в те времена было трудно, но можно. Евреям. Хитроумный наш Одиссей разузнал, что во время войны архив города Курска не успели вывезти и он весь утрачен. Это первое. Во-вторых, верные, уже отъехавшие московские евреи организовали ему родственный вызов из Израиля. Тут не обошлось без затруднений. Наш «еврей» Кашкаров пришел в редакцию и говорит, что получил вызов от человека, но по имени и фамилии не может определить, мужчина это или женщина. А ведь надо знать, кто тебя вызывает — дядя или тетя! Мы тоже определить не смогли. Пришлось ему обращаться к знающим ортодоксальным евреям. Те определили. Вздохнув посвободнее, Юра пишет заявление, что у него была бабушка еврейка, жила до войны в Курске и там погибла. А теперь его вызывают родные на историческую родину. После этого с большой опаской ждет результата и отращивает усики.

Мне-то кажется, что в КГБ тогда были умные сотрудники. Небось решили наплевать на всю эту липу: хочешь, ну и езжай! Забегая вперед, скажу, что когда в один из невыносимых приступов ностальгии Данилыч хотел вернуться, то его мама, Елизавета Федоровна Попова, большевичка до мозга костей, заслуженная учительница, награжденная в числе прочего и орденом Ленина, пошла в КГБ. Там ее приняли двое в штатском, она стала просить, а потом и настаивать, чтобы ему разрешили вернуться, потому что он больной. Они ей ответили: «Больной? Ну, сидел бы здесь и лечился! У нас медицина бесплатная. А вы, уважаемый человек, а сына распустили!» И отказали. Этим тогда дело и кончилось. Но это потом.

А тогда получает Юрий Данилович разрешение на выезд и бежит в Охотный ряд фотографироваться на загранпаспорт. Принес потом

паспорт, показывает фото и спрашивает, похож ли он на еврея. Похож, говорю, все равно ведь главное, что у тебя бабушка из Курска еврейка.

Получивши документы, отправив, в целях конспирации, багаж в Израиль и взяв билет до Вены, направился Юрий Данилович на Арбат, прощаться. Пришел и рассказывает: «Я говорю старику, что еще увидимся, а он мне сказал, что теперь уж не увидимся: уехал — все равно, что умер, это как покойник». Но рассказал мне Данилыч не все. Позже я узнала, что Алексей Федорович сказал еще так: «Не будет вам Юра с Сашей счастья!» По большому счету старик оказался прав, так оно и вышло. И, наверное, переживал, что его лучшие верные издатели разъезжаются, бросают его. Ведь Саша Воронин тоже много издавал Лосева и перед своим отъездом в Чехословакию издал в «Мысли» «Эстетику Возрождения».

Саша Воронин через несколько лет вернулся в СССР. За непротокольное поведение (с политической подкладкой) он был объявлен персоной нон грата и выслан в 24 часа из Праги; карьера его была сломана. Алексея Федоровича он по-прежнему любил, приходил в гости, даже строил какие-то планы. Но при всем своем блистательном интеллекте начальник Саша уже не был и помочь Лосеву в издательских делах не мог.

Кашкаров первый раз приехал из Америки в Россию в 1988 году и попал точно на сорок дней по Алексею Федоровичу.

Юра Кашкаров прожил в Америке восемнадцать лет, занимался журнальной деятельностью, написал прекрасную прозу, но в первое время было ему там очень лихо. Переписываться с ним было нельзя, но окольным путем сведения до нас доходили. Матери он писал бодрые письма, но доходила до Арбата и печальная правда. Я остро переживала Юрины несчастья, и мы обсуждали это. Остались у меня записи того времени, читая которые, надо сделать скидку на молодость писавшего, то есть мою.

Приведу фрагменты этой записи, касающейся Алексея Федоровича.

«25 марта 1977 г.

Я пошла в субботу, (это, наверное, 20 марта), к Лосеву; понесла работу. Встретили меня как всегда очень любезно, и даже, пожалуй, теплее обычного. Сначала мы беседовали с Азой Алибековной, и я ей

показывала, что и как сделано из шестого тома, что надобно бы проверить секретарям и т.д. Она дала мне еще большой кусок, который вряд ли будет легче, тем более что это двести нестандартных страниц от руки. Буду делать. Надо все это сделать, чтобы потом меньше мороки. Мы разговаривали по делам и очень громко, строили планы, как бы сделать, чтобы все вышло и никакой материал не пропал, чтобы "История античной эстетики" была действительно полной и завершенной. Старик большой хитрец, но какой же милый, необыкновенный человек. Он был в кабинете, и я подозреваю, что проснулся и внимательно все наши разговоры слушал. Наконец, видимо решив, что пора и самому вмешаться, вышел потихоньку. Стали мы здороваться и впервые за все время он по-родственному подставил мне свою щеку. «Ну, — сказала Аза Алибековна, — целуйтесь!» Я поцеловала его в щечку, а он мне руку поцеловал. Вот ведь рыцарь старинных времен! Он розовенький, мягонький, большой — ведь рост-то у него велик, хотя теперь он уже несколько сутулится, — очень ясный, хотя выражение его лица зачастую с хитрецей, или юмористическое, или ироническое. Очень живое выражение! Сколько всего в человеке, мыслей, чувств, эмоций, наконец, интеллекта десять вагонов, если такое живое, быстро меняющееся выражение лица при том, что глаза закрыты, а когда открыты, то без выражения. Ведь он не видит ничего.

Георгий Карлович Вагнер меня однажды спрашивал, каков Лосев в общении. Его, оказывается, интересовало — прост ли он? "Очень, — ответила я, — а как же иначе может быть?" "Ну, — сказал Георгий Карлович, — Лосев мог бы вести себя и монументально, по тому, сколько он наработал и по причине еще той, что такой головы нынче нет ни у кого".

Видимо, Алексей Федорович давно перешагнул все слабости человеческие, такие как гордыню, заносчивость и т.д. и так без конца. Видимо, он понимает по-настоящему, что важно и нужно. По моим впечатлениям для него работа — это всё. Он и сам говорил: "Я безумствовал с молодых лет, я работал днями и ночами, я потерял зрение и сон; и так сорок лет, даже больше". Теперь для него важно издать все наработанное... <...> для простых смертных (т.е. не для узких специалистов. — Г.Б.) Алексея Федоровича хватит с избытком,

чтобы представить себе и культуру, и время, и дух времени, которое исследуется. Это оценка моя не для кого-нибудь. Мне ли Алексея Федоровича хвалить?! Это оценка его для меня самой, для памяти.

А как человек? Он очень искренний человек, очень добрый, очень мудрый, очень снисходительный. В свои 84 года он очень много, чудовищно много работает, и не утерял вкуса к работе, к людям, к событиям, одним словом — к жизни. Дай Бог ему жить и жить!

Теперь, решив с Алексеем Федоровичем все дела, стали пить чай. И чай у них профессорские, но простые и милые. На столе все, но Алексей Федорович пьет жиденький чай с рахат-лукумом, который смеясь называет "замазкой". Правда, в прошлый чай я углядела, что он любит конфетки "Мишки", и в прошлый раз, съев одну, предерзостно потребовал и съел еще одну. Аза ему, естественно, их не очень-то дает. И права. Но это милые подробности. И как всегда — парадокс. Все заработал, все может и — ничего нельзя. Если будешь позволять себе жить "вкусненько", то много не проживешь, а, следовательно, и не наработаешь. Все в этом доме во имя науки и работы.

И вот за чаем я узнаю правду о Юркином житье, что на меня произвело впечатление ошеломляющее. Оказывается, Юрка пишет часто и, видимо, правдиво в Швейцарию одной старушке, которая является тетушкой Тони Комаровской... Кто-то принес Лосевым это письмо, и Аза Алибековна зачитала вслух все это Алексею Федоровичу. Они мне это пересказали; вернее, рассказывала Аза, а старик уточнял, у него же феноменальная способность запоминать на слух. Вот содержание этого письма. "Тонечка, у нас хотя и март, но тепло, восемнадцать градусов. Я пишу тебе перед раскрытым окном, за которым масса красивых цветов. Мы живем хорошо и т.д. Юра мне часто пишет. Он очень страдает от одиночества. Он страшно озлоблен, эта озлобленность пугает меня. Он пишет мне, что ему никто не верит и он не верит никому. Он пишет мне: пока я тихий. Приехав, он искал работу и не нашел. Он бросил эти поиски и обратился в толстовский фонд, где ему выдают пособие. Записался в две библиотеки и пишет мне, что очень много читает, и все серьезные книги. *Какие* жалкие письма он пишет". Вот таково содержание, и в письме тетушки слово "какие" действительно подчеркнуто.

Что можно сказать? У Лосевых его очень жалеют. Алексей Федорович сказал: "Я как подумаю о нем, так у меня по телу дрожь". Аза Алибековна тоже очень жалеет его. Я спросила Алексея Федоровича об одиночестве, меня эта проблема очень интересует и трогает в последнее время. Он ответил: "Одиночество — очень тяжкий крест. Нельзя требовать от всех, чтобы люди могли этот крест снести. Когда я был одинок, а такие моменты в моей жизни были, мне было страшно тяжело".

Я все размышляю: а иночество? Надо будет продолжить со стариком при случае вентилировать эту тему. Да, я сказала старику, что Пастернак написал в "Докторе": "Стадность — прибежище неодаренности". Вот он мне и ответил, что одиночество — крест. <...>

И еще вспомнила я один и печальный, и смешной штрих беседы у старика за чаем. Аза Алибековна расстроено сказала: "Может быть, ему можно было бы пристроиться по духовной части, может быть в монастырь пойти?" Тут Алексей Федорович засмеялся, и надо было видеть его лицо. "Теперь с монастырями дело известное, — сказал он, улыбаясь хитро-хитро. — Теперь монахи не знают — не то Богу молиться, не то манатки собирать". Тут уж мы с Азой засмеялись. Она стала говорить, что ведь там-то монастыри еще не разгоняют.

Комично пристрастие Алексея Федоровича к словам и выражениям "барахло", "манатки", "балда", "мозги отшибло". Как смешно говорит: "Гали-и-на, ты уже не девочка, ты же взрослая женщина и должна понимать (это по поводу Туровского¹), что мужское семя это вещь живая органическая, а не неживая". Надо видеть и слышать, как старик собирается рассказать какой-нибудь безобидный и смешной анекдот, а Аза Алибековна восклицает: "Тоже мне, анекдотчик нашелся!" Два тихих профессора на отдыхе. Старик любит, когда с ним разговаривают просто и искренне. Когда мы ходили в гости всей редакцией и все молчали, то он обиделся. И сказал по окончании

¹ Туровский Марк Борисович, бывший студент А.Ф. Лосева, впоследствии преподавал философию в мединституте, где посеял среди студентов большую смуту, утверждая, что из неживого может возникнуть живое; студенты даже пытались в лаборатории что-то сотворить. После всего Туровского уволили. Он краткое время работал в редакции эстетики.

обеда: "Все [или всё-??] молчите! Ну, теперь приходите на мои похороны. Тогда и не надо будет разговаривать!" Посетители робеют, а ведь с ним можно общаться-то только посредством разговора. Его интересует ответ, а не благоговение собеседника».

Вот такая запись нашлась у меня в бумагах от того времени.

Жизнь была, как ей и положено быть, очень разная: и серьезная, и забавная, и печальная, и смешная. Алексей Федорович исключительно живо, остро и соответствующе реагировал на происходящее. Всегда, например, очень внимательно следил за тем, чтобы его текст не исказили. Один случай приведу без цитирования, но суть была именно такова. Саша Михайлов, редактируя том, поправил выражение, что спартанцы на таком-то острове кому-то набили морду — на что-то более изящное и нейтральное. Алексей Федорович сразу это обнаружил и гонял Сашу нещадно. Говорил, что он написал так, как написал, и требовал восстановить. Понятно, что для старика античность была живая и буквально дышала. Для Саши Михайлова, наверное, это были исторические факты на страницах книг. Этот случай получил огласку в узких редакционных кругах. Особенно все смеялись на последний аргумент Лосева. Он сказал Саше: «Что же они (спартанцы), по-твоему, там делали?»

Но бывали ситуации, когда было не до улыбок. Как-то Алексею Федоровичу заказали статью «Символ» для энциклопедии. В результате кроме статьи появилась и книга «Проблема символа и реалистическое искусство». Вышла она у нас, редактировал Юра Кашкаров. В тексте были большие цитаты из «Медного всадника» А.С. Пушкина, которые Кашкаров самочинно снял. Когда пришла верстка и Алексей Федорович узнал про эти сокращения — грянул гром. Юра пришел с Арбата ужасно расстроенный. Пришлось вставлять цитаты, с середины переверстывать книжку и платить типографии — тогда ввели уже этот порядок. Алексей Федорович сказал: «Я заплачу, но цитаты вернуть!» Это было Юре Кашкарову неприятно вдвойне.

Со мной лично однажды произошел случай на уровне анекдота. Пришлось мне услышать, как Алексей Федорович сердился на меня. Дело в том, что рукописи каждого тома были примерно по полторы тысячи страниц. Когда эта гора текстов бывала готова и отправлялась

в типографию, то протограф, а зачастую и копии относились обратно на Арбат, там целее будут. Когда же начинали набирать, а набирали в то время на линотипах в свинце, да не в Москве, то тут не дай Бог какая-нибудь остановка; если отложат, то надолго или, что называется, навсегда.

И вот в один прекрасный день вбегает в редакцию раздраженная дама из производственного отдела и начинает шуметь: «Что вы там понаписали в своих рукописях? Звонит наборщик Лосева из Тулы, он в бешенстве! Говорит, что на каждой странице все какое-то фэ эр гэ, да фэ эр гэ. Текст весь из древности, а при чем тут тогда Германия? Говорит, понапишут, а потом опять переливать! Говорит, бросит набор!»

Кинулась я к шкафам, а ни одного экземпляра нет. Наверное, у Кашкарова дома был экземпляр, а в редакции ничего нет. А она стоит и говорит, если сейчас не выяснишь, то набор остановим, наборщик у телефона ждет. Я совсем обалдела: какая, думаю, Германия, какая ФРГ? Последняя надежда, спросить у автора. Знаю, что Аза Алибековна в университете, но звоню. Берет трубку секретарь, рассказываю ему и прошу спросить у Алексея Федоровича. Короткая пауза и Алексей Федорович берет трубку сам. Я в панике повторяю ему этот дурацкий вопрос. Алексей Федорович тихо отвечает:

— Эф эр гэ — это сокращенное «фрагмент».

Я говорю это производственной даме, она начинает хохотать, а потом убегает. Зато я остаюсь с Алексеем Федоровичем на проводе. Он мне говорит: «Ты что же это, уважаемая? Совсем ничего не соображаешь?» Я бормочу, что ни одного текста в редакции нет, а тут еще какая-то Германия. А Лосев говорит: «Ну, уважаемая, у тебя совсем мозги отшибло!» Слово «уважаемый» было у Лосева ругательное; он говорил, что в письмах надо писать «многоуважаемый», а просто «уважаемый» — это как-то обидно.

Конечно, для других людей и ситуаций были у Алексея Федоровича и другие слова. Как-то я пришла вечером на Арбат по делам и среди прочего сообщила, что наш главный редактор Федор Дмитриевич Кондратенко опять чего-то то ли не пускает, то ли не дает. Старик говорит: «Он же мне обещал!» Потом мы стали пить чай втроем и все

разговаривали с Азой Алибековной о каких-то посторонних вещах. И вдруг такой диалог.

— Федор — сволочь! — сказал в сердцах Алексей Федорович совершенно неожиданно и не к разговору.

— Что это вы, Алексей Федорович, ругаетесь? И при всех! — спросила Аза Алибековна.

— Здесь никого нет, мы одни.

— Но мы же дамы! — обиженно воскликнула Аза Алибековна.

— Извините, — мрачно сказал Алексей Федорович и весь вечер молчал. И было бы все это, конечно, смешно, когда бы не было так грустно.

Довелось мне увидеть и более тяжелую картину, которая врезалась мне в сердце, в память на всю жизнь каждой деталью, каждым словом.

Пришли мы на Арбат с Володей Походаевым объявить очередную «радостную» новость: рукопись надо сократить как минимум на десять листов, так приказало начальство, потому что якобы ни одна типография не берется переплетать такой объем. И сделать ничего нельзя.

Алексей Федорович сидел у стола напротив нас, был закутан в плед, нахохлившись, как больная птица. И молчал. Рядом с ним стояла Аза Алибековна. Тишина была какая-то нехорошая. Люстра горела очень ярко. Вдруг я увидела, что по лицу Алексея Федоровича катятся слезы. Он плакал молча и слез не вытирал. Жутко у меня стало внутри, жалость нахлынула пронзительная. Потом он сказал:

— Что же вы всё режете? Пользуйтесь, пока я жив. Вы думаете, Аза вам напишет? Ничего она вам не напишет, она же филолог.

Мы молчали. Что мы могли отвечать? Вот как оно бывает. В тюрьме человек не плакал, в лагере не плакал, в войну не плакал, а тут... Видно, всякий ресурс в конце концов иссякает.

Немного успокоившись, Алексей Федорович сам стал резать свое детище и изъясил целый раздел — эллинистически-римскую эстетику, которую позже Аза Алибековна издала отдельной книгой. Но все эти сокращения были не по техническим причинам. Вот еще моя старая запись от 21 апреля 1977 г.

«Мне кажется, что против Лосева интрига какая-то на уровне Комитета, Стукалина и каких-то "ученых", которых Вачек по

фамилиям не назвал. "Ученые" считают, что в вышедших томах плохая редакция. Каковы? По их мнению, надо было сокращать. Всё это трудности, которые неизвестно как надо преодолеть. Ясно только одно, что "ученые" сами никогда ничего путного не напишут. И поделом им. Не интриговать надо, а работать». Фамилии этих людей так и остались для меня тайной.

После отъезда Кашкарова стало очень трудно. В моих старых записях мелькают фразы: «С Лосевым дело обстоит скверно. Лосева не издают. Лосева держат. Я бессильна». Да и действительно, что я такое, что я могу? Алексей Федорович считал «Историю античной эстетики» своим главным трудом, а мы падали в пропасть и точки опоры не было.

Но Бог помог. Опора нашлась в лице Ивана Федоровича Волкова, который еще тогда не был деканом филфака, но любил нас, был нашим другом, а — главное — был лучшим другом главного редактора нашего издательства «Искусство» Федора Дмитриевича Кондратенко. И стали мы давить на Ваню, а он на Федора, и вставили все-таки том в план, и назначили срок сдачи в производство. Выглядит как в сказке — бабка за деду, а дедка за репку. Смешно, но так было.

И сам процесс сдачи был не совсем обычный и комичный. Иван Федорович сказал, что можно нести рукопись. В этот день мы были с Григоряном почему-то одни. Говорю ему: надо нести Лосева на подпись к главреду. Григорян покрутился, покурил и придумал: «Я не могу идти. У меня на пиджаке локоть рваный, дырка. Как я пойду?» Я: Федор все равно не увидит, наплевать ему на ваш рукав. А Вачек своё: лучше он домой съездит и пиджак сменит; на машине это быстро. Мне же шестое чувство подсказывает, что его из редакции выпускать нельзя — обманет, уедет и не вернется. А потом неизвестно что и когда. Вот и говорю: я Вам рукав зашью. Это был подвиг! Шить не умею, а тут рукав ему быстро и хорошо заштопала. Григорян удивился, похвалил, и мы с огромными папками пошли наверх.

В кабинете Федор Дмитриевич вертел рукопись, хлопал белесыми ресницами, мычал и мямлил, что объем слишком большой. Григорян жутко боялся начальства и молчал, трусливо улыбаясь. Я же нахально утверждала, что объем такой, как всегда, что нечего сидеть на рукописях, а надо их издавать. Федор принял нитроглицерин, помямлил еще, что с него снимут голову и... подписал. Я быстро

собрала папки, и мы удалились. «Ай да Ваня!» — ликующе думала я. Дело было сделано.

Когда теперь вспоминаешь эти события, то кажется, что все было не очень серьезно, как в дурной оперетте. Но было именно так. Великое сопровождалось какой-то ерундой. Помню, однажды обсуждали очередную неприятность, и я сказала, что надо бороться. Алексей Федорович ответил: «Я устал бороться! Не могу же я бороться целый век!». И печально замолк.

Единственной светлой личностью среди чиновников был наш цензор, Юрий Дмитриевич Криушенко. Когда «Искусство» переехало в Собиновский переулок, то он оказался в соседней с нами комнате. Шаг — и ты попадешь в его маленькую комнатку, доверху заваленную верстками и бумагами. Юрий Дмитриевич был очень толстый, круглый лицом, похожий на хомячка. Очки у него были с таким количеством диоптрий, что и глаз не видно; да еще огромнейшая лупа. Так и читал. Когда приносили ему эстетику, то даже дела минувших дней оставлял на просмотр, даже всяких Шефтсбери и Вольтеров. На разговоры о том, что Ваккенродера или Уильяма Морриса читать не стоит, говорил, что тут же есть вступительные статьи и надо смотреть. Редко, но иногда приглашал редакторов и говорил: что же вы тут накрутили, вот помечено, берите назад. А когда придешь с «Историей античной эстетики», то говорит: «А-а, Лосев!» Повозится на стуле, попыхтит и достает печать. И все. Умнейший человек был наш цензор.

Хочется еще вспомнить эпизоды из истории издания «Эллинистически-римской эстетики I—II вв. н.э.» — того самого текста, который выбросили из тома и из-за которого Алексей Федорович плакал. Аза Алибековна решила старика утешить и договорилась с директором издательства «Московский университет» Александром Константиновичем Авеличевым, своим бывшим учеником. Алексей Федорович и раньше говорил: вот, у меня всегда одни тексты, а иллюстраций никаких, хотя иногда и можно было бы иллюстрировать. А тут — директор «свой», Лосева любит, ну, мы и решили размахнуться.

Я сосватала в художники Марию Александровну Климову, в просторечии Мурочку, свою большую приятельницу, работавшую в ленинградской «Авроре», жену известного искусствоведа Ростислава

Борисовича Климова. Славочка Климов трудился у нас, в «Искусстве», и в то время делал огромный подарочный том о римском искусстве в серии «Памятники мирового искусства». Роскошных иллюстраций было море. Заключили договор, и началась усиленная беготня на Арбат и обратно.

Вдруг Мурочка заявляет: название длинное, плохо будет на титуле смотреться, нельзя ли покороче. Я осторожно закинула старику удочку насчет этого названия, а он в ответ: «А какое же тебе еще название надо? Что в тексте, такое и название!» Я ретировалась. Сказала Мурочке, чтобы делала красиво такое название, какое есть.

Однажды, уходя, уже в прихожей (и что меня дернуло?), говорю Азе Алибековне: «А знаете, чья Мурочка дочь?» Она: «Чья?» Я: «Митрополита Введенского!» Аза Алибековна всплеснулась вся и вскрикнула: «О-о-ой!» Я: «Что с вами?» Она: «Да нет, ничего. Просто он такой человек был...» Мы, большинство, тогда не знали в подробностях истории вопроса, и я не ведала, сколько душ Александр Иванович Введенский погубил. Но Алексей Федорович вместе со многими на себе всё испытал. Теперь дочь Введенского оказалась в тяжелом материальном положении, а получилось, что работу ей Лосев дал. Вот такой неожиданный нюанс в этой истории был.

Директор, Саша Авеличев, был «наш», а вот редакция — почему-то жутко враждебная. Заведующая, бойкая партийная дама, при Саше, когда на совете материалы утверждали, молчала, зато без него — держись! Я однажды не выдержала и сказала Саше — разогнали бы вы их за невежество и за все остальное. Нельзя, — отвечает: только тронь — такое начнется!..

Издательство «Московский университет» тогда находилось на ул. Герцена, в бывшем особняке графа Орлова. Авеличев сидел в роскошном кабинете графа, с камином и прочими излишествами. Редакции были в нагроможденных клетушках, курятники, да и только. На втором этаже был зал, помнится, со стеклянным потолком в вышине, с кариатидами, которым какие-то дураки сделали красным лаком педикюр. Посреди зала столы со стульями для всех проходящих литературных бродяг, а на одной из стен окошко с многообещающей надписью «Касса». Одним словом, вокзал.

В этом зале меня и штурмовала заведующая редакцией вместе с присными, и на подкрепление пригласила главного художника. Они со мной так разговаривали, почему-то лично меня с такой ненавистью поносили и в таких выражениях, что даже молодой главный художник сначала сделал большие глаза, а потом совсем их опустил. Требовали, чтобы часть иллюстраций снять, а то в этом формате остаются пустые полосы. Больше часа орали, а на меня накатило удивительное спокойствие и я на все крики говорила — нет. С неопровержимыми аргументами, почему нельзя сокращать. Кончилось тем, что главный художник предложил не сокращать, а полос добавить. Ну, на это я согласилась.

Но и Мурочка не дремала. Стала делать шрифты заголовков через все издание и заявила, что для того, чтобы сохранить архитектонику книги, ей нужна еще полоса текста.

Алексей Федорович в это время был уже на даче. И поехала я в «Отдых». Как всегда прекрасно тут — тишина, покой, аллеи. Приехала — все обрадовались (издателям всегда все рады). Алексей Федорович на веранде, в кресле-качалке. Аза Алибековна тут же, у плиты гремит кастрюльками. Всё мирно. Объявляю: так мол и так, надо дописать полосу. Старик сидит, профиль как на античной монете, молчит. А потом вдруг: «Я что хотел — все уже сказал и написал». Я, хоть и сидела, но так и села. Говорю: оформление, шрифты требуют добавить. Аза Алибековна бросает кастрюльки, начинает громко объяснять, что можно написать то-то или вот то-то. Алексей Федорович послушал, да и говорит: «Не кричи, Аза». Посидел минуты две молча, потом спросил: «Запишешь?» Ну, конечно. Тихо продиктовал. Это памятная для меня 341 страница книги. Поразило меня его чувство меры, интуиция. Как будто мысленно книгу читал. У нас даже рукописи под рукой не было — вообще ничего, а он сразу включился, решил, что именно нужно, сделал текст за несколько минут. Так всё помнить — это феноменально!

Итак, Алексей Федорович жил на даче, а дело шло своим чередом.

Мурочка придумала (чтобы было совсем уж шикарно) сделать форзац рисованным — какие-нибудь античные фигуры или сюжеты, а на переплете ничего не писать — дать тисненую золотом римскую монету с амуром, плывущим на тритоне и трубящим в морскую

раковину. Показала — красиво, полный восторг. Графику, оригиналы для типографии должен был сделать ее зять, известный художник Дима Плавинский. Он и сейчас жив-здоров, ему теперь 70 лет, живет в Нью-Йорке и работает по контракту в Нью-Йоркской картинной галерее.

Через неделю спрашиваю, готово? Диалог такого содержания. Нет. Почему? Дима запил. О, боги мои, боги! Еще через неделю. Как? Пьет. Плавинский раньше, когда пил, никогда не работал. А сейчас, в Нью-Йорке, работает и когда пьет. Капитализм, что ли?

Еще через неделю. Как? Пьет. Что же это такое? Когда же кончит? И вдруг Мурочка городит такую дикую вещь: «Что ты с ума сходишь? Старик старый и скоро умрет!» Это про Лосева! Это в 1979 году! Да и не важно для меня было, какой год. Я стала орать (тем более что Мурочка была глухая, как пень), что все вы перемрете, а старик будет (и, прости Господи, почти не ошиблась: умерла Мария Александровна вслед за Лосевым, и было ей всего шестьдесят с небольшим лет). В общем, дружба в сторону. Потребовала я, чтобы все было сделано немедленно. Как она своего Диму вытрезвляла, не знаю. Монету он сделал хорошо, и оригинал был сдан. Форзац не осилил, снова провалился в эту бездну, а ждать мы не могли.

Но все наши муки окончились ничем. Загад не бывает богат. Родная полиграфия все свела к нулю. Штамп что ли плохой сделали. На обложке в тираже не было никакого тритона-дельфина, никакого Амура, а просто круглое золотое пятно неизвестного содержания, которое мы окрестили «блямбой».

Наконец, книжка вышла и я пришла к старику с сигналом. Алексей Федорович сидит в кабинете благостный, в хорошем настроении. Ну, говорит, рассказывай. Вот, говорю, супер, очень красивый, цветной снимок из римской виллы, даже кракелюры на фреске. Дальше, говорю, ваш портрет с автографом, хороший, где вы чай пьете за столом, чашку мы отрезали, хорошо получилось. Дальше титул. Читай, говорит. Читаю. Дальше оборот титула, все зачитываю. Ну, теперь читай первую страницу. Я читаю: «От автора». Что?! Где?! Какое «от автора»? Откуда взялось. Я говорю, что это Мурочка предложила, чтобы шрифты насквозь в книге гармонировали. «Ах, шрифты?! От автора! А остальное от кого? Да ты видела у меня

где-нибудь "от автора"?! Да что же такое?!» Просто бушевал старик, а мне хоть провались с этими шрифтами.

Потом, когда старик успокоился, стали читать детально до конца. Потом, конечно, мир. Тем более что книга получилась, невзирая ни на что, кажется, хорошая.

Работал Алексей Федорович необыкновенно много и продуктивно. Мы в редакции посмеивались, что старик работает один как целый сектор Института философии. Там был план — несколько листов должен сдать за год кандидат наук, и доктор наук побольше. А сколько пишет и сдает Лосев, все мы знали.

Еще до отъезда в Штаты, пришел как-то Юра Кашкаров с Арбата и поведал, что в разговоре со стариком сказал ему: «Вам, Алексей Федорович, чтобы стать классиком, осталось только умереть». Я Данилычу: совсем обалдел. А он защищаться: ведь это правда. Оно и правда, живых классиков не бывает. Особенно у нас в то время быть не могло никак — пока жив, вдруг что-нибудь не то скажет или напишет.

К вопросу о «скажет» можно добавить вот еще что. Когда мы начинали спрашивать старика что-нибудь о политике, то Аза Алибековна частенько повторяла: «Вот вы все спрашиваете, а потом будете говорить везде, да еще сошлетесь, что это Лосев сказал». В общем правильно, пуганый заяц куста боится.

Помню, как Алексей Федорович усмехался: «Ленин философ сла-а-абый! У него определение материи слабое». Или разговор, когда Черненко, Константин Устинович, стал генсеком: «Сколько ему лет? Семьдесят? Старый человек. Государством руководить — это сколько работать надо! Я бы не смог».

Мне кажется, что из колеи Алексея Федоровича могло выбивать только одно: если издательские дела спотыкались или совсем не шли.

Однажды, когда издательские дела сильно покосились, Ольга Сергеевна Соболюкова, тогдашняя домоуправительница, повезла Алексея Федоровича на защиту диссертации о проблемах стиля. Алексей Федорович был мрачнее тучи и все время молчал. Соискательница говорила, объясняла и доказывала. Когда кончила, старик вдруг угрюмо спросил: «Дайте определение — что такое стиль?» И — о ужас! — она почему-то не могла ответить ни слова. Говорили, будто соискательнице вызывали скорую, а Ольга Сергеевна

старика под руку — и уехали. Такая была история из рассказов других. Поэтому не могу поручиться за достоверность на 100%, но сведения из надежных источников.

Первый раз сама я увидела Соболькову в редакции, когда она принесла сдавать рукопись лосевского тома. Приехала на такси. В лисьей шапке, губы покрашены, надменная, как Екатерина Великая. Кашкаров перед ней запрыгал, мы с любопытством наблюдали. Обмен любезностями — и удалилась. Юра раскрыл папку и охнул: «Ох, аннотацию не дали! Придется опять звонить». Сережа Александров ему: «Беги, верни даму. Пусть она напишет, чем потом канителиться». Кашкаров захохотал и говорит: «Да ведь это же домработница!» Так мы все и познакомились с Олей. <...>

Случались и недоразумения, в которых каким-то боком была виновата и я. Как-то летом, на даче у Алексея Федоровича заболела нога так сильно, что он не мог на нее даже наступить. Телефона у меня тогда на новой квартире не было, поэтому мы с Лосевыми переписывались. Вдруг в почтовом ящике — письмо от Азы Алибековны о болезни Алексея Федоровича, о том, что все разъехались по дачам и никого не найдешь. И таким одиночеством повеяло на меня от всего прочитанного.

Я моментально позвонила Александру Наумовичу Луку. Это был наш автор, ученый, занимался проблемами памяти, хороший психоневролог, замечательно лечил радикулиты и все такое, консультировал в поликлинике. Лечил и нас в редакции, отзывы о нем были очень хорошие. Я сказала, что надо немедленно ехать к Лосеву, и мы — а он бросил все свои дела — поехали в Отдых.

Приехали. Входим на дачу к Спиркину. Дача тогда была в расцвете своей летней роскошной красоты. Открываем калитку, вступаем на аллею. Подбегает к нам собачка Спиркина, маленькая Малышка. Александр Наумович весь сжался, чувствую, что он страшно испуган. Оказалось, Лук патологически боится собак вообще. Хотя я бодро объясняю, что она только лает, но не кусается, он все равно не разжался. Так прошли аллею, вступили на портал. Оставила я здесь бедного Луку, а сама вошла на веранду. Никого. Постучалась, вошла в комнату. В комнате сидел Алексей Федорович, Саша Столяров читал ему Вл. Соловьева.

Поздоровалась. Помню дословно, старик ответил мне так: «Прости, встать не могу. Боль меня настигла». Я начала говорить, что со мной приехал врач, что все будет хорошо и т.д. А тем временем на аллее появилась Аза Алибековна с бидоном молока, увидела Лука с портфелем и поинтересовалась, к кому он приехал. Лук: к Алексею Федоровичу. Аза Алибековна ему: Алексей Федорович заболел и помочь Вам не сможет. На это Лук ей, мол, для того он и приехал со мной, чтобы помочь Алексею Федоровичу.

Тут всё разъяснилось, всё засуетилось. Аза Алибековна повела Лука осматривать больного. Потом Лук вышел на веранду, установил, что это воспаление запирательного нерва, невралгия, начал выписывать рецепты. Саша побежал в аптеку. Я же завела речи об остеохондрозе. Стали Лука спрашивать: да что это, да как это. Аза Алибековна говорит, что в словаре такого слова нет. Лук нас просвещать: это не «хандроз» как я думала, а «хондроз» — греческое слово, которое можно понять как «хрящ». Аза Алибековна принесла греческий словарь, слово нашлось. Смех, живой разговор о несуразностях. Вдруг Лук произносит что-то по латыни. Поглощенная жизненными трудностями и ногой Алексея Федоровича, Аза Алибековна, как с разбегу, остановилась в разговоре и молчит. Я — тем более. Тогда Александр Наумович победно перевел нам сказанное на русский. Что — уж теперь не помню. Аза Алибековна засмеялась, мол — да, да! Врач получил плату за визит, я обязалась в Москве найти новое тогда лекарство под названием «бруффен», светская беседа закружилась, и мы удалились.

Когда приехали, Лук все ахал, какая у Спиркина дача. А теперь, когда вышли за забор, он мне — какие замечательные и приятные люди Лосевы. Я соглашаюсь. Потом спрашивает, кто Аза Алибековна? Отвечаю: профессор, заведующая кафедрой классической филологии в МГУ. Тут Александр Наумович чуть не упал, смутился жутко: «Какой ужас! А я-то, дурак, с латынью полез!» Я смеюсь: ерунда, лишь бы нога зажила у Алексея Федоровича. А в электричке Лук все твердил: «Какой старик! Я раньше не понимал, чего вы в редакции так про него говорите, а теперь увидел его, пообщался немножко и понял! Необыкновенный старик, я таких людей не встречал!»

Вскоре Лосевы переехали с дачи в Москву. Невралгия проходила, но как-то неохотно. К тому же от этого лекарства Алексей Федорович стал хуже слышать. Просто кошмар — не видеть, да еще плохо слышать. Я ему: «Алексей Федорович, может тогда не принимать этот бруфпен?» А он: «Я так не привык. Начал курс — надо кончить. Я систематик». Потом Алексей Федорович меня как-то спрашивает: «Что же ваш Лук меня бросил? Все было овеяно такой дружбой — и пропал. Даже не позвонит».

Звоню Луку, а он: «Не могу ни идти, ни звонить. Неудобно. Они будут деньги давать, а я взять не могу». Надо бы мне было вмешаться в ситуацию, да я что-то закрутилась. И долечивал Алексея Федоровича уже другой врач, специалист по иглотерапии. Довольно молодой, пришел и заявил, что надо колоть в шею. Алексей Федорович ему: «Что-то я не верю. Колоть будете в шею, а нога выздоровеет?» Врач отвечает: «А ваша вера и не нужна». Но после этого курса Алексей Федорович, действительно, выздоровел и стал ходить.

II.

В первой части вспоминались все какие-то дела издательские. Но никак не избежать самого печального для меня — вспоминать последний период жизни Алексея Федоровича.

О, душа моя, что же ты плачешь?! Много времени прошло, а все так живо. На Афоне монахи говорят: жил хорошо, посмотрим, как умирать будет. Алексей Федорович был для меня величина постоянная, и я малодушно, но категорично отсекала мысль, что он может уйти от нас. Когда посещали такие мысли, то сразу думалось, что вот мы живем кое-как, а Лосев живет правильно, работает много, но ритмично; вот ему и восемьдесят, и восемьдесят пять, и девяносто... и ничего. И, конечно, никогда я и предположить не могла, что вот Бог приведет мне быть свидетелем, как Алексей Федорович будет болеть и умирать.

Алексей Федорович стал болеть в начале перестройки. И как раз в это время ушла от них по причине гипертонии Софья Владимировна Бобринская, которая много лет помогала им по хозяйству. Аза Алибековна стала искать ей замену, тем более, Алексей Федорович

нуждался в особом внимании. Спросила она и меня, нет ли кого на примете, хорошего какого-нибудь человека? Думала я, думала: вроде и подходящего никого нет, да и за кого можно поручиться? Позвонила Азе Алибековне и говорю, что нет никого; если только я сама могу помочь, коли справлюсь. Аза Алибековна обрадовалась, что проблема решается, я пришла, сели втроем. Все вопросы в доме всегда решались с согласия Алексея Федоровича. Его слово последнее. Аза Алибековна стала говорить, что вот Галина Даниловна будет вместо Софьи Владимировны, и как будет хорошо. Вдруг старик тихо так говорит: «Нет». Я изумилась, а Аза Алибековна красноречиво забежала и закричала, что будет хорошо, что я человек свой и т.п. Алексей Федорович опять говорит: «Нет». Я спрашиваю: «Алексей Федорович, почему?» А он отвечает: «Интеллигентный человек должен делать интеллигентную работу». Аза Алибековна заявила, что положение безвыходное, и тогда он сказал: «Я против. Делайте как хотите». С того дня стала я заниматься хозяйством, а старик перестал говорить мне «ты» и до самой смерти говорил мне только «вы», к моему величайшему огорчению. Он был сто раз прав. Он был тысячу раз прав. Но положение было и вправду безвыходное, в то время особенно был нужен кто-то свой. Однажды он мне что-то сказал, а я осмелилась и говорю: «Что это вы, Алексей Федорович, со мной на "вы" разговариваете?» И ни-че-го. Молчит. Промолчать он умел как-то особенно, мастерски.

Раньше мое общение с Лосевым было или деловым, рабочим, или гостевым иногда, то есть чай и соответственно беседа. Такое общение можно назвать все-таки внешним. А теперь, когда попала внутрь дома и домашней жизни, общение стало частым и иным.

На дворе уже начала шуметь перестройка, у всех открылся дар речи. Один выступает так, другой печатает смяк. Ежедневный разноголосый крик. Тогда, после больницы Алексею Федоровичу уже не было хорошо, но еще не было так худо, как в последние месяцы жизни. Вот иногда, если момент подходящий, и рассказываю, кто что крикнул. Конечно, мне интересно, что старик скажет. По-моему, это самое интересное. Смута, и хочется знать, что человек мудрый скажет. Сохранилось у меня несколько записей того времени — это 1987 год, ноябрь, декабрь.

Спрашиваю, что могут означать текущие события. Отвечает весьма пессимистически: «Все это очень неопределенно и неизвестно, надолго ли. Вот в чем весь вопрос. Что можно сказать? Завтра всё и кончится».

70 лет Советской власти. Торжественное собрание и речь Горбачева. Рассказываю Алексею Федоровичу на другой день, что генсек говорил. Он слушает и вдруг спрашивает: «А Бухарина реабилитировали?»

Реабилитации пошли потом, после смерти Лосева.

Не один раз заходит разговор о Сталине и компартии. Вот несколько записей.

«Старик говорит, что до тех пор ничему нельзя верить, пока Сталин не будет по-настоящему осужден, то есть выведен из партии.

Спрашиваю: И отовсюду?

Ответ: И отовсюду.

Я: Что же, значит, могилу надо расковырять?

Мгновенная пауза и насмешливая улыбка.

Ответ: А как же!»

Это все дословно приводится здесь. Другая запись:

«До тех пор, пока не будет Сталин исключен из партии и не опубликуют высказывание Н.А. Бердяева: "Существует два вида сатанизма — коммунизм и фашизм", верить всему этому нельзя».

«Спрашиваю, а что же все-таки окончательно конкретно должно быть сделано и получаю ответ: Сталин должен быть исключен из партии посмертно.

Я: Что это вы, Алексей Федорович, так волнуетесь о чистоте рядов партии?

А.Ф.: Сталин должен быть исключен, а партия переименована в фашистскую».

Еще запись. «В конце 1987 года были сомнения по поводу происходящего: надолго ли? В январе разоблачительные материалы в газетах и те же разговоры.

Старик: Что бы ни происходило, а партии все на пользу. Она все крепнет. Пред войной — какой был террор, даже военачальников всех побили. А войну все-таки выиграли. Какой ценой? Это другое дело. Но выиграли. И партия снова укрепилась. Она никогда не допустит, чтобы

что-то делалось, что ей во вред. У нее очень развит инстинкт самосохранения. Если будет что-либо хоть чуть угрожающее, то она сразу примет меры к ликвидации таких явлений и факторов. Это несомненно. Также и с перестройкой, и со всем остальным вообще».

Прошло больше двух десятков лет с того разговора и теперь ясно, что по сути, по большому счету Алексей Федорович был абсолютно прав. Партия мимикрирует на все лады, а самые бойкие члены ее перестроились тогда мгновенно, приватизировали народное достояние и теперь мы имеем то, что имеем, а вернее сказать, не имеем ничего. То, что прежде было тайным и замаскированным, стало наглым и явным.

Как-то однажды, еще в 1970-х годах, Алексей Федорович, смеясь, мне говорил вот что: «Вы теперь не знаете, что такое заем, а раньше была подписка на заем. Конечно, "добровольная". Нас, профессоров, подписывали каждый год на сумму в размере месячной зарплаты. Значит, один месяц в году я работал бесплатно». Рассказывал это смеясь, потому, что был человеком памятьвым, но не злопамятным и не жадным, а удивительно щедрым. Но то, что политика государства и партии была такая, так это факт.

И еще две записи, сделанные уже в 1980-е годы. Когда Аза Алибековна уходила в университет, иногда и я оставалась с Алексеем Федоровичем. У него в это время была уже сильная гипоксия и он, сидя в кресле, надувал резиновый круг для упражнения легких и сжимал резиновую игрушку для работы мышц. Рекомендации врача исполнял. Ох, и терпелив был! А однажды подаю ему этот круг, а он так горестно говорит: «Да ну! Не хочу, не буду! Надоело мне все это». Почти в 95 лет так тяжело болел, но хотелось работать. Разговаривали мы мало, потому что уставал он. Иногда произносил: «Давайте не будем говорить».

Вот что Алексей Федорович говорил:

«Вся эта свобода печати до времени. Вот махнет рукой (и сам слабо взмахивает рукой, показывает как взмахнет) и всё».

Я: Знак, значит, подаст?

Он: Ну, конечно, знак. Махнет рукой и всё».

Совсем уж незадолго до смерти вот так же сидели в кабинете и на мои очередные вопросы о том, что будет, сказал так: «Как кулак разжался, так и сожмется (и показал рукой как). Мир будет жить, а русские так всё и будут сидеть в землянке и отрачивать свой волосатый кулак».

Как будет — неизвестно, но Алексей Федорович, видимо, обдумывал происходившее и сказал именно так.

В этот же период как-то зашел разговор о репрессиях, и я сказала, что, мол, вот вы, Алексей Федорович, тоже пострадали. Он ответил вдруг с какой-то легкой интонацией и даже как-то пренебрежительно махнув рукой: «Да-а-а, я сидел недолго...»

Конечно, по сравнению, например, с Георгием Карловичем Вагнером недолго; тот совершенно безвинно отбыл восемнадцать лет на Колыме и потом бесконвойно, на поселении. Срок пришелся и на войну; в войну политических не освобождали, а срок продлевали. Помню, когда у Георгия Карловича умерла жена, то он был просто убит. Вскоре после ее похорон мы шли как-то по Арбатской площади, весна, многолюдье и такое солнце. А он плакал на ходу и говорил: «Не могу жить, не могу. Вот солнце, а мне кажется, что все вокруг черным-черно. Я уж все книги, бумаги, архив — все разобрал и сложил по порядку. И справку свою о реабилитации нашел, положил в документы. Вдруг придут забирать...»

— За что? — удивилась я, решив, что у него с горя разум помутился.

— А тогда за что? — спросил он тихо.

Вот уж когда ответить было совсем нечего.

О чем еще говорил? Ничего не помню. Ничего не записано. И от этого одни горькие сожаления. Надо было по возможности все записывать. А я по глупости не только не записывала, но и были случаи, когда даже слушала невнимательно. Один такой случай врезался в память, стыжусь и раскаиваюсь до сих пор. Это было еще в 1970-х годах. Как-то спросила я Алексея Федоровича о душе. Он стал говорить, а мои мысли вильнули куда-то в сторону. Голос слышу, а мысли о чем-то другом. Как наваждение. Потом включаюсь, а Алексей Федорович говорит: «А потому душа везде и нигде». И осталась я с

разинутым ртом. Ведь не скажешь же, что повторите, мол, не слышала. Святой человек и мудрый, поэтому хватало терпения разговаривать с такими дураками, как я. Однажды Аза Алибековна справедливо заметила, что Алексей Федорович намного пережил всех своих собеседников и разговаривать на равных ему было не с кем.

Алексей Федорович никогда никого не поучал, но если спрашивали — всегда отвечал. Это же так удобно, не искать ответа в книгах, не думать мучительно, а спросил — и пожалуйста!

В те времена мы ездили с издательством в турпоездки. Приехала я как-то из Прибалтики, пришла на Арбат, сначала дела книжные, потом чай. Стала я рассказывать, что в поезде один чернорабочий настаивал, что Бога нет, потому что когда Гитлер убивал в концлагерях невинных детей, то где был Бог? И мы не могли ему ничего толком ответить. Алексей Федорович послушал мои сбивчивые речи и говорит:

— Ты хочешь спросить, почему Бог попускает мировое зло?

— Да, да, — обрадовалась я и приготовилась выслушать целую лекцию.

— Никто не знает, почему Бог попускает мировое зло. Это божественная тайна.

И добавил, что человеческий разум не всё может знать. Вообще к позитивизму относился отрицательно. Кстати, так же говорил и о Сократе, о том, что в смерти Сократа есть какая-то тайна.

Была своя тайна и у Алексея Федоровича. Он ушел и унес свою тайну в могилу, не сказав ни словечка ни единой живой душе. Из одного этого уже можно понять, как серьезно и трепетно он относился к своему внутреннему миру, к интимной жизни своей души. Только через некоторое время после его смерти стало нам известно, что Алексей Федорович был монах в тайном постриге с именем Андроник (что означает — победитель мужей), а его первая супруга Валентина Михайловна приняла постриг с именем Афанасия. Когда-то венчал их в Троице-Сергиевом Посаде о. Павел Флоренский, а потом оба они стали монахами в миру. Это произошло в то время, когда монастыри почти все разрушили, а монахов разогнали, преследовали и даже истребляли. Это поступок, который сам за себя говорит.

Когда я узнала об этом, то многое из прошедшего, из событий и разговоров предстало передо мной совсем в ином свете. Алексей

Федорович несколько раз по ходу разных разговоров замечал: «Богу можно служить и в миру!» Теперь я это понимаю иначе, чем тогда.

Аза Алибековна спрашивает: «Алексей Федорович, будете пост держать?» Он вдруг так отвечает: «У меня всю жизнь пост». Теперь понимаю, что пост — прежде всего молитва, а значит, и ответ по существу. Ел же старик все больше грибной или овощной суп, да винегрет, и никогда ничего не заказывал. Вообще ел, что дают.

В самом начале знакомства пришла по делам на Арбат и первый раз попала на пасхальную неделю.

— Алексей Федорович, поздравляю вас с праздником! — осторожно говорю я.

— А с каким? — весело улыбается старик, как загадку задает.

— С Пасхой! — отвечаю я.

— А как надо правильно сказать?

— Христос Воскресе! — говорю я.

— Воистину Воскресе! Вот теперь правильно!

Ну, что сегодня скажешь на все это? Нежно и шутиливо воспитывал монах в тайном постриге рядового советского человека. В те поры я никаких монахов не знала, не то что тайных.

Через год я пришла уже смело и даже с подарком. Вот, говорю, ездил один священник в Святую Землю, привез оттуда листья лавра и раздавал своим прихожанам. Мне подарили, а я разделила и вам принесла. Алексей Федорович как-то сосредоточился, взял пакетик в руку, благоговейно поднес к губам и ко лбу, перекрестился и поблагодарил. Потом открыл правый верхний ящик стола и стал наощупь пристраивать этот пакетик среди своих вещей. Очень это было трогательно. Я говорю, что вот вам и крашеное яйцо принесла. Вдруг старик стал громко звать: «Аза, Аза!» Аза Алибековна не пришла, а прибежала: «Что, что случилось?» «Неси скорее яйцо!» — весело воскликнул Алексей Федорович. И был весь вечер в хорошем настроении.

Ложь вообще не моя стихия, а на Арбате и тем более я всегда говорила правду, только правду и ничего кроме правды. Что есть, то и бухну не подумавши. Ну и ситуации, как я теперь понимаю, получались иногда забавные. Как-то, покончивши с делами, Алексей Федорович спрашивает: «Как у вас там в редакции, что-нибудь есть

интересное?» Я бодро отвечаю: «Ничего особенного нет. А Юра сказал, что умеет творить умную молитву. А Сережа сказал, что если уж быть, то таким как Серафим Саровский, а если нет, то и нечего».

Аза Алибековна замерла и смотрит на Алексея Федоровича. Он молчит. Я же сижу как ни в чем не бывало, только чувствую, что пауза долгая. Потом Алексей Федорович заговорил.

— Когда я был молодым, то у меня был духовник отец Давид. А у отца Давида на Афоне тоже был духовник. Так вот тот умел творить умную молитву. Они жили в одной келье и постели были напротив друг друга. Когда ложились спать, то отец Давид видел, как тот молится и лежа приподнимается над постелью.

— Разве это может быть? — спрашиваю я.

— Конечно, — отвечает Алексей Федорович. — Ты читала у меня об античном эфире? Вот это так же. Когда человек молится, то может быть другое состояние материи.

Это теперь я прочитала про отца Давида (Мухранова), узнала про имяславие и умную молитву, а тогда... И ведь разговаривал же с нами Алексей Федорович, ронял в наши души семена, и менялись незаметно и постепенно, если не все, то многие. Мне казалось, что люди, окружавшие старика, были все хорошие: приходили с любовью и получали любовь. А когда умер, то все мы стали разные.

Когда был готов «маленький Соловьев», стали окольными путями хлопотать, чтобы его издавать. Вдруг, когда дело сладилось, выходит, силами и авторитетом космонавта Севастьянова, книга Федорова с идеей воскрешения всех и вся. Как же Алексей Федорович расстроился и рассердился! Волей случая мне пришлось услышать на эту тему целую речь Алексея Федоровича. И Аза Алибековна была с нами. Смысл этой речи был таков: вот работаешь, хочешь издать что-то важное, уже все хорошо, вот-вот исполнится, как вдруг — раз! — и, на тебе, все срывается! Теперь начнется шум и Соловьева не издадут.

Дословно резюме было следующее: «Ну что такое Федоров? Московский чудак! А всё пропало!»

Здесь хочется заметить, что не стоит всегда всерьез принимать такого рода высказывания как оценочные и окончательные. Это ведь жизнь. Мало ли какие бывают случаи и обстоятельства. Ну, человек и

сказал. Пришлось на лосевских чтениях от кого-то из молодых философов услышать, что о Розанове сказал Лосев: виноват-де Василий Васильевич чуть ли не больше всех в последствиях революции; и что с ним за это надо сделать.

Однажды в разговоре я тоже (как, наверно, и многие) спросила Алексея Федоровича, что он о Розанове думает. Ну, Алексей Федорович и сказал: «Что ж, Василий Васильевич. Всё семья, жена, да щи, да котлеты, а после обеда сядет за письменный стол и шарит в штанах». И спустя несколько мгновений добавил: «А все-таки я его люблю!» Всё это говорилось с иронией, но с доброй улыбкой.

Для других людей, знавших Лосева лично, он был тоже немножко загадочен. Например, Юра Кашкаров не был уверен, что Алексей Федорович совсем не видит. Он все развивал теории, что может быть Алексей Федорович видит очень яркий свет. Думается, что утешал себя самого. Уж очень это страшно — тьма. Но зато не сомневался по части веры и мировоззрения Алексея Федоровича.

А вот в тексте «Из беседы, состоявшейся 16 марта 1984 г.» (участвовали П.В. Флоренский, С.М. Половинкин, Т.А. Шутова) всплывают вопросы у собеседников: верит — не верит? Марксист — не марксист? Почему писать о христианстве избегает? Всё как-то неопределенно. Правда, в конце разговора П.В. Флоренский приходит к правильному выводу: «Дайте мне завершить мой труд, остальное трепотня! Слишком долго меня заставляли молчать, а теперь у меня призывной возраст!»

Все вопросы-то фундаментальные. Мне вспоминается несколько эпизодов, которые проливают свет на эти проблемы. Когда Алексей Федорович был здоров, да еще и весел, — это было наслаждение. Очень смешно рассказывал. Однажды по ходу разговора стал вспоминать. «Раньше как лекции читали? Приходишь и сразу начинаешь: Иосиф Виссарионович Сталин в своем труде "Вопросы языкознания" писал. Зачитываешь цитату. И дальше Платон». — Я спрашиваю: «Что же, без всякой связи?» — «Без всякой связи», — подтверждает Алексей Федорович и веселится. Аза Алибековна смеется и говорит, что так и было. И другие лекторы тоже. Получается нечто вроде ритуала. Но ведь учили.

В том же тексте приводится ответ Алексея Федоровича на вопрос С. Аверинцева о душе: «... ум летит вперед, а душа трепещет. Ум летит, рвется вперед, а душа за ним боится следовать и трепещет». Ведь как искренне и честно ответил. Но в то же время надо было слышать, как он смеясь говаривал: «Я ведь донско-о-ой казак!» Алексей Федорович был человек мудрый, но и смелый. После издания восьмикнижия кто станет отрицать смелость Лосева? Рассудок, осмотрительность очевидно призывали к дипломатии с катастрофической жизнью, и все-таки он взорвался «Диалектикой мифа». Это отчаянное безрассудство, но ведь и невероятная смелость.

На память приходит такое красочное сравнение. В старой Москве (где-то век XVIII-й) на площади перед Страстным монастырем (ныне Пушкинская пл.) в распутицу была такая грязь, что оную площадь можно было пересечь только в экипаже; и часто в осенние ночи неслись с площади отчаянные крики «Караул!» тех смельчаков, которые решались перейти площадь пешими. Пешеходов грабили, а подчас и убивали — поневоле закричишь отчаянно. Караул приходил, но не всегда. Да, еще была такая колоритная деталь: люди, которые жили рядом, открывали в ночи окна и на отчаянные призывы несчастных кричали «Идем!», но, конечно, никто никуда не шел.

Так и на крик души Лосева откликнулись и пришли за ним совсем не те, кому надо бы к нему прийти. Здесь можно видеть сходство внешнее в ситуации и эмоциях. Но есть и большое различие. Там, на старой московской площади события разворачивались одномоментно. Человек надеялся благополучно проскочить, и иногда получалось. Такая смелость, как в холодную воду броситься — раз и все! А с Лосевым совсем иное. Конечно, как все люди, наверное, надеялся проскочить. Но мысль работала постоянно (это время), написание книги (это время), поиск путей к изданию (это время), принимает на себя полную ответственность за текст, т.к. это издание автора. Это вам не «Караул!» крикнуть и ждать помощи. Это решение и осуществление его во времени. Для таких действий надо иметь не просто смелость, а настоящее мужество, духовный стальной стержень.

Конечно, после пережитого опасения, видимо, были. А как иначе? Однажды я пришла к ним и принесла очень плохие вести. Суть дела была в том, что опять совсем затормозили издание, и по некоторым

признакам надолго. Алексей Федорович сидел в столовой не на своем обычном месте, а в торце стола — спиной к окну и лицом к двери; Аза Алибековна стояла около его стула. Я же сидела на другом конце стола, нас разделяло некоторое расстояние. Когда я сообщила об очередных бедах, Алексей Федорович так и сидел неподвижно и молчал. Потом повернулся к Азе Алибековне, а она близко нагнулась к его лицу, и сказал ей очень тихо: «А, может быть, они знают?» Она так же очень тихо, словно утешая его, ответила: «Ну, вряд ли. Ну откуда они могут знать?» Я же встрепенулась на своем конце и стала спрашивать: «Что, что они знают?!» Сразу они оба как бы «закрылись», и Аза Алибековна сказала мне: «Да так. Ничего». Больше я и не спрашивала. Мы в редакции очень долго не знали, что Лосев сидел.

Было бы неестественно, если бы не опасались. И не они одни. Это теперь все стали смелые до времени. Волею судьбы на протяжении ряда лет я была хорошо знакома с сестрами Киреевскими, последними бездетными потомками Ивана Киреевского. Их было четыре, все постепенно умерли, а задержалась сильно младшая из них, Людмила Ивановна Киреевская (по мужу Кончаловская); она умерла в девяносто три года. Когда она осталась одна, а на дворе уже 1990-е годы, перестройка и плюрализм, бывшие соседи по коммуналке, которые до смерти ей помогали, что было хлопотно и нелегко, т.к. они все переехали из-за расселения, предложили ей вот что: согласна ли она, чтобы к ней ходили помощники, молодежь из вновь образовавшегося дворянского общества? Надо было видеть, как она задрожала: «Нет! Ни в коем случае!» Изумление вопрошавших: «Почему?» И почтенная дама под девяносто, как говорил Алексей Федорович «призывного возраста», категорически ответила: «Нет, нет! Придут, арестуют и расстреляют!» Было дело, когда их однажды после революции, действительно, чуть не расстреляли за одну только фамилию. Да, видно, Бог спас. Все вышли потом замуж и фамилию сменили все. Из этого можно видеть, что уж вся жизнь человека прошла, а испуг — нет.

Хотя об Алексее Федоровиче этого сказать как раз нельзя. Вера, конечно, помогала. С.Б. Джимбинов в статье «Слово о Лосеве» вспоминает: «Как-то в день ангела я принес Лосеву просфору из

Богоявленского собора. Лосев был тронут, размял ее в руке и сказал: "Главное, ничего не бойся. Ничего они тебе не сделают. Не могут сделать. Если бы я не верил, что свижу своих родителей — я бы не стал жить и работать. Да что родителей! Я уверен, что даже свою родную гимназию в Новочеркасске увижу своими глазами до каждой трещинки в штукатурке". Да ведь это настоящее исповедание веры»².

Мы все как будто веруем, но как же нам далеко до Алексея Федоровича. Вскоре после его смерти приснился мне сон. Будто я на кухне, еще в своей старой квартире, дверь открыта и через коридор, длинный и узкий, видна входная дверь. Вдруг звонок, Аза Алибековна открывает дверь, и я вижу, что пришел Алексей Федорович; в черном пальто, спокойный, улыбающийся, зрячий. Я смотрю на него — и счастье. Такая радость во сне, что дух перехватывает. Аза Алибековна повела его в кабинет, а я заметалась по кухне совершенно бестолково. Что дать, чем кормить?! Не ждали. И вдруг смена ощущений, растерянность от мысли: «Как же он теперь жить будет? Ведь паспорт его сдали в милицию!» На этом и счастье конец, да и сон кончился. Вот она и разница. Алексей Федорович наяву верит, что там с родителями свидится, а я даже во сне ужасаюсь, что он вернулся, а паспорта нет. И не одна я такая.

В той же «Беседе...» П.В. Флоренский высказывает предположение, что Лосев не писал о христианстве из благоговения. Вряд ли. Был случай, который произошел в 1980 г. Вечером на Арбате — разговор с Алексеем Федоровичем в кабинете об издательских делах. Совсем темно, только настольная лампа горит. В полумраке сидит в кресле за столом Лосев. Нас разделяет массивный письменный прибор. Алексей Федорович настроен благодушно, и вообще атмосфера благостная. Как-то к этому пришел разговор и я спрашиваю: «Алексей Федорович, почему вы не пишете о христианстве? Другому десять лет надо, а вы все знаете. Кто же напишет? Уж пора написать». Алексей Федорович слушал-слушал мои восклицания и вдруг разволновался, даже щеки порозовели. Как-то разгорелся от этого разговора. Потом говорит: «Ты же знаешь,

2 А.Ф. Лосев: Ойкумена мысли. Уфа, 2005. С. 53.

была жизнь. Не до жиру, быть бы живу. А теперь по совокупности трудов и заслуг — все в порядке, а по возрасту не проходит. Помнится, в то время Аза Алибековна говорила мне: «Да не надо нам денег. Нам нужно справедливое признание. Выбрали бы почетным академиком, да в нашей Академии этого нет». Одним словом, Аверинцев прошел, а Лосев — нет. Но самому Алексею Федоровичу про то, что документы подавали, ничего не говорили, что и хорошо. Незачем человека понапрасну расстраивать.

Зато дали Лосеву орден Трудового Красного Знамени. К этому времени он как раз заболел пневмонией. Всем вручали в Кремле, а ему дома. Приехала в ухабистый двор правительственная «Чайка». Вручался орден в кабинете заместителем министра просвещения со свитой. Оказалось, что этот чиновник тоже учился у Алексея Федоровича. Температура у Лосева была далеко за 38°. Но он был подобающе случаю одет, стоя за письменным столом выслушал все торжественные речи, а потом благодарил, начав так: «Я, как римский солдат, умираю стоя!», и сказал, что работал, как ломовая лошадь.

После этого надолго слег. Тяжелым был этот период жизни Лосева.

А раньше, когда Алексей Федорович был здоров, какие бывали действия! Вспоминается его 85-летний юбилей. Это было в овальном зале Пединститута. Теперь все иначе называется и люди стали иные. А тогда это было так. Привезли Алексея Федоровича на торжество, он был в хорошем настроении. Съехалась вся научная Москва, да еще студентов много; уж они на него смотрели как на... Не знаю, как сказать. Наверное, как на живую легенду. Зал там амфитеатром и полон был людьми до краев. Много выступающих отовсюду.

Вышла приветствовать ученая дама из Киевского университета. На ней была шерстяная кофта с поясочком по послевоенной моде, в правой руке папка с бумагами, а в левой — авоська и в ней большая коробка с тортом «Полёт». Тогда этот торт пекли только в Киеве, вот и привезла в подарок. Зал вообще очень живо реагировал на подарки. Дама сказала, что привезла поздравление на латыни и прочитала его. Алексей Федорович встал и по-латыни же произнес ответную речь. Кессиди вышел, говорил и подарил камешек от Парфенона (сказал, что отколол сам) и лавровый венок. Вышел посланец от Тбилисского университета и, положив на кафедру бурдюк с вином, тоже произнес

приветствия и пожелания. Гасан Гусейнов прочитал поздравительную «телеграмму» от божественного Платона. Кажется, на эту «телеграмму» Алексей Федорович стал отвечать по-гречески. Произнес целую речь. В один момент вдруг остановился и долго молчал. Тишина в зале была мертвая. Рядом со мной сидел молодой человек, который страстным шепотом стал повторять: «Забыл! Забыл слово! Замените слово! Замените слово!» Потом Алексей Федорович спокойно продолжил речь, после этой большой паузы. И зал выдохнул с облегчением.

Вот на какой высоте была планка у Алексея Федоровича в глазах всех. Как это, вдруг слово забыл! И это в восемьдесят-то пять лет! А ведь кто к нему обращался, многие читали по бумажке. Такого действия мне больше видеть не приходилось, и очень жаль, что не сняли тот юбилей на пленку. Никто и не подумал об этом. В заключение Лосев произнес речь о вечно юной науке, которую надо любить.

Юбилей, на котором праздновалось девяносто лет, был такой же торжественный, но другой. Алексей Федорович был печален. Один из выступающих, П.В. Палиевский сказал: «Алексей Федорович, я вам завидую. У вас есть Аза Алибековна и библиотека». Действительно, чем Алексей Федорович прямо-таки гордился, так это своей библиотекой. Как-то еще в семидесятых годах говорил мне с веселым вызовом: «У меня знаешь какие книги есть? — каких и в Ленинке нет!»

Запомнилось, как долго и причудливо выступал Аверинцев; закончив говорить, долго молча кланялся Лосеву в пояс, на старинный русский лад. Странно. Юбиляр этого видеть не мог, только публика.

В конце, отвечая выступавшим, Лосев сказал, что истина без человека быть может, а человек без истины — нет. Это прозвучало как напутствие всем присутствующим.

В последние годы до болезни Алексей Федорович работал очень интенсивно. С восьмым томом явно спешил, гнал изо всех сил работу к концу и часто повторял — надо успеть. И успел, написал свои последние сто печатных листов. Работа была без отдыха, как послушание.

Интересная деталь. Когда Алексей Федорович начинал новую работу, он делался каким-то другим, как бы отстраненным от окружающего и сосредоточенным. В такое время он в беседу вступал неохотно, а чаще и не вступал. Разговоры происходили около него, да не с ним. А потом уравновешивалось, всё возвращалось на круги своя. На научные темы всегда беседовал необыкновенно живо, интересно. Какое у него было богатство интонаций! Занятно, например: слово «хаос» произносил как-то протяжно и вкусно, словно этот хаос был чем-то живым и даже симпатичным. Мы с Юрой Кашкаровым всё пытались подражать его интонациям.

В издательстве, в головах у наших бухгалтеров тоже был хаос, но совсем не такой вкусный. Гонорары Алексей Федорович получал большие, и бухгалтеры заботились насчет налогов. Документы все были, но каждый раз требовали справку. В очередной раз объясняла, что Алексей Федорович инвалид первой группы по зрению и с него налогов нет. Они опять за свое, и произошел такой скандал, такая моя была ярость, что вопрос решился раз и навсегда. Им казалось, что такие деньги — это невероятно. Если даже объяснишь, что гонорар тома уходил на работу над следующим томом, то все равно не поймут. Одних только секретарей сколько было. Алексей Федорович всегда говорил так: «Каждый труд должен быть оплачен». Но о своих заработках не говорил никогда. Всем ведала Аза Алибековна.

И вдруг такой эпизод. Где-то в середине мая 1988 г. Алексей Федорович завтракал в кабинете, и, когда закончил, неожиданно спросил меня: «Галина Даниловна, как вы думаете, мне заплатят 40% за том?» В эти дни шли чистые листы тома, который вышел накануне его смерти. Я была обескуражена. Первый раз за два десятка лет старик заговорил о деньгах. «Конечно, — сказала я, — вы же держали корректуру, теперь уже чистые листы идут». Алексей Федорович слушал недоверчиво, знал Вачека и наших издательских коробейников. Я горячо убеждала его, а он все слушал, потом сказал: «Ну, идите». После его смерти заплатили, но неохотно и не сразу. Теперь-то понимаю, что Алексей Федорович не о себе думал, а как без него будет Аза Алибековна.

Надо сказать, что Алексей Федорович и о своих думал, но и о ближних (получается по заповеди), то есть о друзьях, учениках, не

забывал. Ведь он свою молодежь не только учил, что, конечно, самое главное, не только ссылался на их работы, не только устраивал их на работу и, вообще, давал заработать на жизнь; он реально помогал купить жилье. Сейчас кабальная ипотека, а Лосев давал деньги на взнос или строительство, а потом отдавали постепенно. Другим помогал купить дачу таким же образом.

К слову, к вопросу о даче. Сам Лосев никогда никакой дачи не имел. Когда-то Аза Алибековна объяснила мне все это так: дачу купить было можно, да и машину тоже, но всем этим надо заниматься, а голова занята работой и времени нет. Поэтому дачу снимали и ездили на такси. Одним словом, жизнь была, как теперь говорят, заточена на работу. Сначала снимали дачи в разных местах, а последние лет двадцать снимали дачу в Отдыхе по Казанской ж. д. Там у Лосевых кто только ни бывал; бывала там и я, и впечатления остались яркие и необычные.

Хозяин этой дачи был Александр Георгиевич Спиркин, членкор АН СССР, автор учебника по философии и вообще личность очень известная. Идти от станции было минут десять вразвалочку, но повернув на тихую улочку и открыв калитку, вы оказываетесь в лесу. У Спиркина этого леса, настоящей корабельной сосны, был целый гектар. Открываете калитку и от нее прямая аллея из старых кленов (по ней Алексей Федорович гулял один), в конце аллеи красивый двухэтажный дом с балконом. Перед домом, с фасада устроен так называемый «портал»: это большая приподнятая на столбах открытая терраса с плиточным полом и ограждением по бокам из балясин. На этот портал вела лестница деревянная, тоже с перилами, балясинами и всем прочим; внизу лестницы две консоли с ящиками цветов, помнится, с настурциями, которые пламенели и свешивались. И солнце. А рядом сосны тихо шумят и даже днем сумрачно.

Поднявшись на портал, где Алексей Федорович часто сидел в кресле-качалке, вы и попадаете к Лосеву в гости. Он снимал две комнаты на первом этаже и застекленную веранду. Дача была со всеми удобствами, правда, общими для съемщиков и хозяев.

Приехав из Москвы и войдя в калитку, сразу безо всяких чистилищ, попадаешь прямо в рай: где-то высоко зеленый полог, внизу прохлада и сумрак, вдалеке дом как из сказки, и тишина, только птицы поют.

Этот лес днем почти совсем глушил звуки электрички, но, правда, над головой летали самолеты, иногда так низко, что хоть заклепки на крыльях считай, это значит — на посадку, в Жуковском аэродром.

У Спиркина семья, родственники, гости приезжали. К Лосеву приезжали секретари работать, люди из Москвы по делам, а также гости и родственники.

Есть замечательные воспоминания об этом времени и месте Елены Аркадьевны Тахо-Годи. Это теперь она доктор филологических наук, профессор, а тогда была малышкой Леночкой и все искала под этими соснами пещерки, где живут гномики, которые, как ей сказано было, принесут золотые сережки. Гномиков она не нашла, а сережки были обретыены весьма прозаически — купили на бабушкину пенсию. Эта маленькая Леночка из Владикавказа прислала Алексею Федоровичу поздравление с днем рождения — собственный рисунок, на нем могучий дуб и детская надпись: пусть наш Алеша будет как этот могучий дуб. Это крошка Леночка называла его Алеша и на «ты». А кто еще? Больше никто. И Алексей Федорович играл с ней и любил ее так, как он это умел.

Как подумаешь теперь, — это был рай, но не с мертвой тишиной, а яркий, разноголосый, живой. Правда, иногда с элементами не совсем райскими. Но преобладали добрые люди, и всё было в порядке. Одним словом, жизнь.

В начальном периоде существования этой дачи Спиркин всё достраивал, усовершенствовал и улучшал. Мотором всей этой деятельности был родной брат Спиркина, Иван Георгиевич. Золотая голова, золотые руки, но немного злоупотреблял. Он жил за «железкой» в Жуковском в квартире, но дневал и ночевал здесь. Всегда приходил со своими идеями и осуществлял их. Тогда начинался шум, треск, стук. Созидание. Но надо сказать, что при Иване дача была как пасхальное яйцо.

Однажды я приехала, сначала работали, потом Аза Алибековна говорит, что пора обедать и стала разогревать. Я пошла в ванную помыть руки. Захожу, а там аромат — укроп и чеснок! И полна ванна огурцов. Помыла тихонько руки и возвращаюсь на веранду. Алексей Федорович сидит, о чем-то своем думает, а я Азу Алибековну спрашиваю:

- Что это у вас в ванной огурцы?
- Иван солит.
- Вот и солил бы у себя в квартире. У него же ванна есть?
- У него занята. Он и у себя засолил, — говорит Аза Алибековна.
- Куда ему столько огурцов? Закусывать?
- Да, наверно.
- А как же мыться?

Ответа не последовало. Мы сели обедать. А потом Аза Алибековна сказала, что возила Алексея Федоровича мыться к знакомым в Жуковский. Из любого положения есть выход. Огурцы солить все равно надо.

Сpirкин был из простых людей, из деревенских, а вот выучился, достиг. Правда, в Академию его избрали не сразу. И это было чистое наказание. Аза Алибековна рассказывала, что Спиркины в гостиной (а это от Лосева из двери в дверь и все слышно) много дней до сумасшествия считали, кто может бросить черный шар, а кто нет. Методами дедукции и индукции стремились проникнуть в будущее. Алексей Федорович за это время много написал, а они всё считали. Но в этот раз, слава Богу, прошел.

На портале, где сиживал Алексей Федорович (даже в дождь под зонтом работал всегда), нависал маленький балкончик, вход из кабинета Александра Георгиевича. Вот как-то Аза Алибековна что-то делает на террасе, а над ней, на балкончике мать Спиркина и брат Иван. Оба кричат: мать-старуха — глухая, Иван — почти глухой. Иван кричит: «А Сашка теперь получать будет 250 рублей!» — «За что же, милай?» — спрашивает мать. — «А ни за что. Просто так». Вот вам и вся философия.

Многое, чем жила дача, узнавалось уже осенью, после сезона. Творческая мысль там работала у каждого в своем направлении. Однажды Аза Алибековна рассказывает, что у знаменитой большой Малышки (собака) родился всего один щенок, и тот недоношенный. Такой, что у него даже рот еще как следует не оформился. А там такие гуманисты, что не могли позволить щенку умереть, стали выкармливать. Я поинтересовалась, как же выкармливать, если еще рта нет. Оказалось, пипеткой через ноздри. И выкормили! На другой год я видела эту собаку; Малышка-мать была огромная, а эта

получилась заурядная и средних размеров, должно быть в отца; но раздражительная, истеричная и злая, могла укусить. Видно, сказались обстоятельства рождения и гуманизм всего коллектива.

Вообще, Алексей Федорович всегда был в эпицентре событий и в гуще жизни. Загудела Москва о Высоцком. Куда? Конечно, в Отдых. Привезли магнитофон и прокрутили Алексею Федоровичу эти песни. Я поинтересовалась его отзывом, но в суете не добилась настоящего ответа. Помню только, рассказывали, что Алексей Федорович считал — хриплый голос — знак чего-то. Ну, и правда, если этот фактор убрать, то половина впечатления пропадает.

В Отдыхе Алексей Федорович работал много и, как всегда, плодотворно; в редакции шутили, что один работал как целый сектор Института философии. Выезжал на дачу в июне, возвращался в октябре. Сначала сам себе брал отпуск на месяц, позже — на две недели, а в последний период, когда последний том делал, то без отпусков и выходных. Каждый день секретари и диктовка. Надо успеть.

Все жили в своем режиме, а Алексей Федорович в своем. Всю жизнь страдал бессонницей, спал на снотворных, засыпал под утро и вставал около часу дня. Завтракал, а потом выходил под клены работать. Там был врыт в землю стол, ставили кресло-качалку для Алексея Федоровича — и он диктовал. Кроме дачного отпуска, работал каждый день и в Москве. Если вдруг секретарь не приезжал, то расстраивался ужасно. Это было ЧП. Но бывали и другие истории.

Володя Биbihин, который был тогда одним из секретарей, придумал такую штуку. Стал возить с собой (как уверяют некоторые) диктофон. Не сказав об этом Алексею Федоровичу, стал записывать все разговоры. То, что Лосев диктовал, писал на бумаге, а все ответы на свои разные вопросы записывал на диктофон, а возможно, и стенографировал (стенографию знал). И так некоторое время. А потом признался, что записывает. Как же Алексей Федорович обиделся! Сказал в таком духе: «Ты вот пишешь, а я не знаю. Мало ли, что я скажу? Разве так делают!» Биbihин был удивительный человек, по моему мнению, кристальный и прозрачный. Таких теперь и не встретишь. Потому и доверял часто людям дурным. У него все были хорошие. Когда сам, теперь уже в «нулевых годах», заболел раком, то

воспринял это философски. Аза Алибековна очень переживала, позвонила ему и настаивала: «Володя, боритесь! Вы должны бороться! Наконец, у вас же маленькие дети!» А он ответил: «Я готов». То есть умереть готов. Этот ответ меня потряс.

Последний раз я видела Володю Бибахина на торжественном открытии памятника Алексею Федоровичу в сентябре 2006 г. в «Доме А.Ф. Лосева». Еле пришел с женой, еле поднялся на третий этаж. Немножко поговорили среди толчеи. Я напомнила ему о словах «Я готов». Ответ его описать не смогу. Кто знал Володю, тот представит и поймет. Тут разговор не словами, а иной; знали-то друг друга смолоду. Но в тот раз сошлись в одном: на мольберте стоял новый большой портрет маслом Лосева, и мы согласились друг с другом, что это он, но и не он — то есть Лосев, но не Алексей Федорович. Такого выражения лица, как на портрете, у Алексея Федоровича никогда не было.

Особенный человек был Володя Бибахин, настоящий ученик Алексея Федоровича. Но и заносило его по-особенному. Записей своих тогда так и не вернул. Незадолго до смерти издал у католиков книжку. Прежде, чем издавать, принес рукопись Азе Алибековне. Она предложила прокомментировать ее, он согласился, но комментариев там набиралось чуть не столько же, сколько текста. Долгая работа. А Володя умирал и торопился, поэтому издал без комментариев. И получилось то, что получилось. Правду говорят, что благими намерениями выстлана дорога в ад.

Сейчас век техники, все снимают и записывают. Можно было бы мне хоть записывать. Надо было записывать всё для памяти. Что теперь есть? Ключки, записочки. Никто не догадался ставить Лосеву на ночь магнитофон, они тогда были. Он ночами не спал, сидел один, молился и размышлял. Были же у него деревянные черные часы без стекла (они сохранились), чтобы время по стрелкам определять наощупь. И тут также. Нажал кнопку и говори. Алексей Федорович не раз говорил: «Ночью такие мысли приходят, а записать нельзя. А утром все исчезает». Остается только жалеть. Другое было время, другая жизнь. Сейчас у каждого телефон, а сказать нечего. Только и слышишь: ты где? я в троллейбусе! а я в метро!.. И думаешь: что дальше-то? А ничего. Вот и весь прогресс.

Но мысленно стоит вернуться на дачу. Ведь жизнь продолжается. Спиркин был человек, как теперь говорят, креативный. Он общался с Алексеем Федоровичем, иногда подолгу беседовал с ним под кленами, видел, как тот работает и сколько. Александр Георгиевич точно видел и понимал, кто перед ним. И вот стал Спиркин выведывать у Азы Алибековны, что Алексей Федорович пьет и ест, чтобы сохранить жизненную силу. Она отвечает, что ничего особенного.

И действительно, если вспомнить — в основном одно и то же. Утром (это в час дня) на завтрак — кофе, ряженка, отварная картошка с зеленью и подсолнечным маслом; в обед (это около семи вечера) — суп грибной или овощной, а на второе котлетка какая-нибудь; среди дня обязательно ягоды или фрукты; ужин (в десять вечера) — чай с хорошим шоколадом (это он любил). А дальше — бессонница. И так всегда.

Уж не знаю, пробовал ли Александр Георгиевич так питаться, но вскоре его деятельность перешла в другую плоскость. Да в какую! Это теперь все колдуют, кому не лень. А тогда это было привилегией высоколобых. Появилась Джуна Давиташвили. То, чего не смогли взять диетой, решили взять парапсихологией и экстрасенсорикой (термин «экстрасенс» ввел Спиркин). Была советская власть. Может, и плохая, но власть. Нельзя было открыть лавочку и камлать за деньги. Пути искали другие. И находили. У Джуны стал лечиться Байбаков, председатель Госплана СССР. Помогло! Кстати, Байбаков умер не так давно, и было ему крепко за девяносто. Раз помогло такому человеку, то и он им помог. Выделили где-то в Москве подвал и там стали все собираться, работать.

Я спросила у Азы Алибековны, что же они там делают? Она говорит: ставят эксперименты. Я поинтересовалась, что же там делает Спиркин? Оказалось, подводит под все это философское обоснование. Все стало понятно. Без философского обоснования, конечно, нельзя.

Пока вся деятельность была в Москве, для дачников это не имело значения. Но за зиму, видать, наработали много и обоснование подвели. Джуна оперилась и поднялась резко вверх. А Спиркин тоже вышел из подвала на оперативный простор и перенес эксперимент на дачу. Когда Лосев возвратился с дачи и началась работа в Москве, я спросила, как отдыхалось. Аза Алибековна сказала: «Да так. Ничего.

Только шумно и воздух плохой». Как?! На даче в Отдыхе, в этих Елисейских Полях? Как это может быть? Оказалось, может.

И вот как это было. Собирались в большом количестве московские экстрасенсы и разная публика. А потом приехал экстрасенс необыкновенной силы. Некто Криворуков, по имени, кажется, Алексей Еремеевич. Криворуков из Кривого Рога. С женой. На даче в так называемом «маленьком домике» и жили. Криворуков лечил руками. Заряжал всё и всех. Аза Алибековна рассказывала, что с его женой как-то чай пила, и жена эта показала свою силу. Вытянула руку по направлению к Азе Алибековне и произошел разряд, попал в нее и ударил весьма ощутимо.

В том сезоне снимали дачу у Спиркина — тот самый маленький домик в другом конце участка, — Ярошевские. Ярошевский, он историк психологии, тоже интересовался экстрасенсорикой. Однажды зарядили для этих супругов воду, стояла она в кувшине в ванной комнате. Аза Алибековна не знала этой тонкости, ей надо было вымыть овощи (почему-то у них на веранде в этот день не шла вода). Взяла кувшин, вымыла, а потом другую воду налила. А Ярошевские пили и говорили: совсем другое дело пить заряженную экстрасенсами воду — силы прибавляются. Аза же Алибековна молчала крепко.

Криворуков познакомился с Алексеем Федоровичем и, когда выдавалась свободная минутка от целительства, приходил беседовать. Узнав, что Алексея Федоровича стойкая многолетняя бессонница, объявил, что это поправимо без всяких таблеток. Дело было днем. Криворуков сделал несколько пассов руками и — о чудо! — Алексей Федорович уснул.

Аза Алибековна высказала предположение, что теперь ночью спать не будет. «Будет!» — уверенно ответил экстрасенс. Ан и нет. Алексей Федорович после этого вообще всю ночь не спал и Аза Алибековна вместе с ним. Обещал кудесник приходить поздно вечером, но времени не было. Да и откуда это время могло взяться? Вообще никакие экстрасенсы Алексею Федоровичу не помогли.

Вся Академия наук бросилась к Спиркину, со всеми своими болячками и фантазиями. Тихая зеленая улица была сплошь заставлена машинами, без конца приезжали и уезжали. Запах бензина пробивал даже через лес. Народу столько, что о тишине можно забыть;

нередко вместо Криворукова заходили к Лосеву по ошибке. Потом стали приезжать старые академики с молодыми женами. Я спросила: «Зачем? Омоложиваться, что ли?» «Ну да» — индифферентно ответила Аза Алибековна. Чудны дела Твои, Господи! С утра до ночи всех омолаживали. Теперь уж все умерли. А тогда.

Вдруг Алексей Еремеевич якобы получает телеграмму, срочно вызывают домой. А на самом деле бежал от налоговой инспекции и незаконного лечения. И уехал Криворуков в Кривой Рог. С женой. И стало потише. Но покоя не было.

На даче появился зубной врач, румын из Кишинева, некто Сандулеску, который ввел в свою практику тимол, хорошо известный дантистам (между прочим, в дальнейшем этот врач добился одобрения фармакологической комиссии и его препарат продавали в аптеках). Употреблять тимол надо было с помощью инъекций, он оказывал нужное действие, якобы укреплял сосуды ног.

На следующее лето (был это 1974 год) стали всех лечить тимолом. Алексей Федорович внизу, на веранде, как обычно, диктовал, а экстрасенсы над ним в кабинете Спиркина вели беседы. Даже на иностранных языках, потому что люди стали приезжать из-за границы. Подходишь к дому, поднимаешь глаза, а между небом и землей — симпозиум. Роскошная жизнь. Потом появилась какая-то увлекающаяся молодежь, среди них и азиаты. Так оно и шло.

Ради логического конца следует рассказать о финале этой эпопеи. Как в русской народной сказке: на третье лето опять собрались все. И тут Александр Георгиевич вдруг обнаружил, что к тимолу образуется привыкание. Всё понял и прекратил его употреблять. Но, видно, не все прекратили. Среди молодых людей возникли какие-то трения. Надо сказать, что среди этих товарищей был один молодой человек (то ли узбек, то ли таджик — мне всё равно, а фамилию забыла) не простой, а киноартист, звезда; он снимался в главной роли в фильме «Пираты XX века». Красоты был неизреченной. Фильм стал событием, а красавец всё время ездил в Отдых. Однажды этот артист тихо надел новое пальто Спиркина и так же тихо ушел, исчез навсегда. Спиркин очень удивился.

Вскоре СМИ закричали, что артист такой-то найден зверски убитым где-то на природе. Спиркин испугался и лег на дно; но еще

больше струсил, когда его вызвал следователь по особо важным делам и спросил, знает ли он, Спиркин, такого-то. «Нет», — ответил Александр Георгиевич. Следователь тогда достал несколько книжек самого Спиркина и сказал, что, судя по этим конкретным дарственным надписям от автора, очень даже знал и неплохо. И, как теперь выражаются, Спиркин раскололся, рассказал про всё и даже про пальто. С тех пор на даче стало как прежде, тишина и рай.

Жил Алексей Федорович по-спартански. Как-то я попала к Спиркину в кабинет, а там картины, абажуры, великолепное ложе, мебельный гарнитур, и всё так буржуазно. В комнате же Лосева две кровати, столик у окна и два стула, да стенной шкаф с книгами. А на веранде холодильник, диван, стол длинный (на случай гостей), стулья, кресло-качалка; в торце веранды шкаф для посуды, стол кухонный, газовая плита, раковина водопровода. И всё.

После столь бурных событий жизнь пошла обычная, события ординарные. Правда, все-таки случился в августе месяце пожар. Вынесли кресло-качалку под клены, Аза Алибековна одела Алексея Федоровича и отвела туда, закутав в одеяла, холодное утро. Потом собрала книги в рюкзаки и методично перетащила туда же. Рюкзаков (в доме они назывались рюкзачками) было всего 15. В них влезли все книги, нужные для работы на даче. После чего сидели и ждали, чем все это кончится. Слава Богу, большой дом, где жили Лосевы, не пострадал, а маленький домик и сарай сгорели. Но Иван все заново отстроил, да еще лучше.

Как подумаешь, так бомбежки и пожары буквально преследовали Алексея Федоровича. В войну бомба попала в дом на Воздвиженке и погибла библиотека Лосева. Поселились в этом, теперешнем доме — рядом упала бомба (на театр Вахтангова) и дом треснул. И ведь треснула стена кирпичная в кабинете Алексея Федоровича, та, что выходит на лестницу. Когда был капитальный ремонт, эта извилистая трещина шириной в палец, а кое-где и больше была видна. В самом начале перестройки (это примерно в 1985 году) на чердаке уже поселились бомжи и развели ночью костер. Вызвали пожарных, Аза Алибековна одела Алексея Федоровича, сидели и ждали команды выходить. А книги? Библиотеку же не вынесешь. Собирал всю жизнь, любил, гордился своими книгами. Можно представить себе, какой

стресс, какие переживания. Но пожарные справились, проливку сделали капитально, так что в ванной обвалился потолок. Пришлось потом вызывать мастеров и делать ремонт.

Потом там, наверху, сидела какая-то контора, потом пошла аренда. И сдали это помещение, по сути дела, прямо над кабинетом Алексея Федоровича, кому бы вы думали? Правильно, экстрасенсам. И стали они там... работать. Бывало, выйдешь на лестницу покурить, и вдруг — музыка. Флейта. Мелодия такая странная, что мороз по коже; никогда ни до, ни после такой музыки не слышала. То ли они там змей заклинали, то ли богатых клиентов. Недаром говорят, что к святости всегда нечисть норовит прилепиться. Потом эта компания вдруг исчезла, как их и не было.

Глядя из дня сегодняшнего, видишь, какие это были нежные времена. Ну, появилась одна Джуна, лечила кое-кого. Ну, приехал один Криворуков, показал себя. Ну, убили одного молодца. Всё штучно. Ну, изыскали тимол, а как поняли — сразу бросили.

Теперь прогресс. Смотришь новости — одна математика: доллары, рубли, трупы. Девиз энергичный — украл и в нору. Какой там тимол? Теперь все круто: амфитамины, «герыч», «крокодил». Попробовал — всё. Жить тебе семь лет, пять, а с «крокодилом» (это для простого народа, подешевле) — год; люди сгнивают заживо, знают про это и все-таки употребляют. Что это? И спросить мне некого, что же будет.

Мир Божий прекрасен, и его должно любить. Но когда пошла во всю ширь перестройка, мое отношение почти ко всему стало перпендикулярным. Когда так выпадаешь из «прогресса», то поневоле засомневаешься. Помню, как я сказала Азе Алибековне (Алексея Федоровича уже не было): «Этот мир не мой. Этот мир чужой. Может быть, мы сошли с ума?» Аза Алибековна ответила твердо: «Это они сошли с ума». И я хоть на этот счет успокоилась.

Но ведь все продолжается. Мир дичает. С последней панихиды по Алексею Федоровичу 24 мая 2012 г. мы приехали на Арбат с Галиной Ивановной Завидовской, она врач, наш человек, а по профессии психиатр, кандидат наук, отличный специалист, людей видит влёт. Мы остановились у дверей библиотеки, мимо катит река молодежи. Я говорю: сейчас самое модное слово «адекватный», киваю на проходящих и спрашиваю, а как, мол, они? Она посмотрела

пристально, даже глаза какие-то другие стали, и отвечает, что тут «адекватность» и не ночевала.

И удивляться тут нечему. Это все дети телевизора, который орет без перерыва на все темы. Ведь свобода лучше, чем несвобода. Темы становятся все глобальнее. В начале перестройки кричали о правах человека, а теперь подняли вопрос о самом человеке. Кто от кого произошел — человек от обезьяны или обезьяна от человека. Какая свежая тема! Уже целый год страстно дискутируют, а недавно объявили, — ей богу, серьезно! — что американские ученые все это расследовали и скоро будет объявлена новая концепция происхождения человека. Даже интересно. Ждем. А лучше бы крикуны почитали что-нибудь дельное.

В бумагах мне попались пожелтевшие листочки машинописные. Это в свое время пришлось перепечатывать «Диалектику мифа» и на некоторых страницах делала лишнюю закладку для себя, на «сладких» кусочках — о душе, мифологии времени, оборотничестве и т.п. Вдруг не издадут, а у меня хоть что-то есть. К счастью, ошиблась, издали, но процитирую по этому листочку.

«... Личность есть факт. Она существует в истории. Она живет, борется, порождается, расцветает и умирает, она есть всегда обязательно жизнь, а не чистое понятие. Чистое понятие должно быть осуществлено, овеществлено, материализовано. Оно должно предстать с живым телом и органами. Личность есть всегда телесно данная интеллигенция, телесно осуществленный символ. Личность человека, напр., немислима без его тела, — конечно, тела осмысленного, интеллигентного, по которому видна душа. Что-нибудь еще значит, что один московский ученый похож на сову, другой на белку, третий на мышонка, четвертый на свинью, пятый на осла, шестой на обезьяну. ... Даже если умрет тело, то оно все равно должно остаться чем-то неотъемлемым от души; и никакого суждения об этой душе никогда не будет без принятия в расчет ее бывшего тела. Тело — не простая выдумка, не случайное явление, не иллюзия только, не пустяки. Оно всегда проявление души, — след., в каком-то смысле сама душа. На иного достаточно только взглянуть, чтобы убедиться в происхождении человека от обезьяны, хотя искреннее мое учение этому прямо противоречит, ибо, несомненно, не человек происходит

от обезьяны, но обезьяна — от человека. По тому мы только и можем судить о личности. Тело — не мертвая механика неизвестно каких-то атомов. Тело — живой лик души».

А чтобы закончить тему с обезьянами и вырождением, вот что: найдите и рассмотрите фотографию первого советского правительства. Самого первого. И все поймете. Позже тех, кто имел и хранил эту фотографию, между прочим, расстреливали. К чему бы это? Кстати, когда Юра Кашкаров, настоящий монархист, спрашивал Алексея Федоровича, как они, общество, воспринимали советскую власть молодую, только народившуюся, услышал такой ответ: «Да все думали, что простоит от Рождества до Пасхи, а потом от Пасхи до Рождества». Не будем сейчас о плюсах и минусах, но общество немножко ошиблось в расчетах.

Русская народная поговорка гласит: чем дальше в лес, тем больше дров. За последнюю четверть века столько дров нарубили, что любой лесоповал отдыхает. Раньше ведь тоже много плохого было, такого, что доводило до уныния и отчаяния. Я, бывало, начинала вопить в редакции, что аморализм нас погубит. А Юра Кашкаров смеялся надо мной и говорил: «Галя у нас пифия, и треножник под ней дымится». Прошла целая жизнь и стало понятно, что вырождение это идет в масштабах всего человечества, что у физического вырождения есть свои стигматы, а у духовного вырождения свои признаки, в том числе аморализм. Процесс идет. А дальше? Дальше подсознательно очень хочется спросить у Алексея Федоровича: «Что же будет?» Невозможно. Ушел в мир иной. Интеллектуалы-то есть, а мыслителей что-то не видно. От этого печаль и горечь.

Однажды Лосев опубликовал статью в журнале «Коммунист», и Москва тихо забурчала: как? Лосев и в «Коммунисте»? Да ведь тогда вся пресса была модификацией «Коммуниста». Зато в этом журнале безопасно, и Лосев, как человек опытный, знал это. Меня тогда царпануло другое. Он провел там мысль, что будущее не за индивидуализмом, а за коллективизмом. Нас так старательно загоняли в коллективное стойло, что такая мысль была противна. Посмотрим, что теперь. Вопят, что надо создать гражданское общество. А что это такое? Никто ж не объясняет, что общество атомарное, каждый сам по

себе. Прошло двадцать лет, и жизнь показала, что Лосев был прав. Он смотрел спокойно и объективно, а мы в эмоциях кувыркались.

Поэтому Лосев сегодня и востребован. Что касается науки — это естественно и понятно. Но и в дискуссиях на злобу дня ссылаются на Алексея Федоровича — это показательно. Когда Лосева спрашивали, на какую философскую полочку его надо положить, он отвечал: «Я — Лосев». Видимо, поэтому ссылаются на него и демократы, и монархисты, и патриоты, и националы. Разброс поклонников чрезвычайно широк. Все подкрепляются Лосевы — значит, читают.

Жизнь загадочно парадоксальна. Помню, после войны книг не было. Все работали. Росли мы без призора, но все вместе, всем двором ходили в районную библиотеку. Библиотекаря, пожилую женщину помню до сих пор. За книгами очередь, а чтобы получить какого-нибудь «Волшебника изумрудного города» вне очереди, надо было сделать обзор журнала «Мурзилка». Хозяйка книжных сокровищ ставила меня на табурет, чтобы оратора было видно из-за книжной стойки, и это были мои первые публичные выступления. Приходилось потрудиться, чтобы прочитать про злую Бастинду. Библиотекарь объясняла нам, что книги нужно беречь, что это — труд многих людей; у нас были тетрадки тонкие по одной копейке и там мы записывали каждую прочитанную книгу и все сведения о ней: кто автор, художник и краткое содержание. Вот вам и аннотирование, изложение своих мысляшек и впечатлений. А были мы все в первом классе.

В студенческие времена, в сессию ходила в Историчку и Некрасовку. Хвосты ужасные, пока закажешь и получишь книги, уже есть хочется. Сейчас Библиотека «Дом А.Ф. Лосева» — это же сокровище и условия роскошные. А молодежь тусуется у фонтана Турандот, в заветные двери не идет. Потерянное поколение, и не одно. Но все равно надо бороться. Должны прийти. Придут, а тут уже все есть. Нельзя не прийти из тьмы к свету, к Лосеву.

Иван Васильевич, персонаж «Театрального романа» Михаила Булгакова, на всем белом свете слушал только трех человек: тетушку Настасью Ивановну, Августу Авдеевну Менежраки и Гавриила

Степановича. И более никого. Азе Алибековне тоже ничто человеческое не чуждо. Кого полюбит — вознесет непомерно, а кто оборвется — тот вылетает из дома и из сознания навсегда. С Азой Алибековной шутки плохи, она человек суровый. Прежде чем писать о последнем периоде жизни Алексея Федоровича, о времени, когда он тяжело болел, я спросила Азу Алибековну: «А про Елизавету писать?» Она ответила: «А что же? Конечно, пишете».

Ну, тогда правда, только правда и ничего кроме правды.

Если выражаться культурно и литературно, то Елизавета Владимировна Селиванова — злой гений дома Лосевых. Видно, как не берегись, зло все равно найдет щелку, где можно просочиться. Так и с Елизаветой. Если правильно помню, то, кажется, Петр Васильевич Палиевский как-то сказал: «У Азы Алибековны Алексей Федорович в кабинете, как бриллиант в сейфе». Алексей Федорович жил удивительно правильной, мудрой жизнью. Ему 80, а он живет и работает; ему 90, а он живет и работает; ему 94 — работает!

В это время и появляется Елизавета Владимировна в доме, помогать. Конечно, не с улицы. Елизавету рекомендовали старые друзья — Антонина Владимировна Комаровская и Софья Владимировна Бобринская. Елизавета часто обреталась у них в доме, нечто вроде приживалки, а с их легкой руки и в других старинных домах Москвы. Начало ее карьеры было без меня; я застала ее уже в полной силе.

Кстати, уже когда Алексея Федоровича не стало, вдруг всплыл в памяти очень давний случай. Как-то раз пришел Г.К. Вагнер в редакцию столь необыкновенно мрачный, что я спросила о причине такого настроения. Он сказал, что был в гостях у родственников (это скульпторы и художники) и вечер не задался, не удалось обсудить то, что надо. И добавил: «Да еще эта дура Елизавета Владимировна!» Сказал с ненавистью и ударением на слове «дурра». Я удивилась. Вагнер был такой вышколенный, настоящий джентльмен. И вдруг такое слово о даме. Это рекомендация. Но когда я встретила Елизавету в доме у Лосева, я и подумать не могла, что это она самая и есть. Такие дифирамбы были от Азы Алибековны, что я приняла ее как нормального человека.

Елизавета Владимировна маленькая старушка, ростом с веник; волосы седые и пышные — прямо божий одуванчик; глаза голубые, не то серые, как две льдинки, пустые и холодные. Строга была, поучала всех, как апостол Павел. И сейчас трудно понять, то ли в ней сидел бес собственной персоной, то ли такая грандиозная глупость, что била наповал всё вокруг себя. А может то и другое вместе? Одним словом, функционер от Люцифера. Рождаются же такие люди. Наверное, Бог загляделся, она и проскочила.

По первости как-то спросила ее, нравится ли ей «Мастер и Маргарита». «Евангелие читать надо, а не всякую гадость!» — прокрипела Елизавета Владимировна. Я подняла уши. Какие мнения бывают разные. Когда-то, как начали издавать Булгакова и шумели о нем, я спросила Азу Алибековну, что она о нем думает. Ответ был также краток: «Это писатель XXI века».

Однажды в разговоре я упомянула Вагнера (композитора). Елизавета строго спросила: «Вы любите Вагнера?» Хотелось, конечно, ответить, что тебя забыла спросить. И хотя старшим грубить нельзя, я ответила весьма вызывающе: «Да, люблю. У него музыка золотая. Почитайте, что Алексей Федорович про него пишет». Тогда она завяла.

Но дело не во вкусах Елизаветы, а совсем в других ее качествах. Всё началось на даче. Обычно Алексей Федорович подолгу не болел, разве что с ногой и радикулитом. А тут случилось вот что. По большей части Алексей Федорович пребывал на веранде. Лето и тепло. Но веранда длинная, с одной стороны дверь, в коридор открытая, а дальше двери к Спиркину и тоже все время ходят; с другой стороны веранды дверь входная, выход на портал и в сад, тоже почти всегда открытая. Получается труба и сквозняк. Вот Алексей Федорович и простудился.

Елизавета приезжала к Лосевым на дачу. Так вот надула щеки и объявила, что это не страшно, лечить надо старинными средствами, а именно: рисовать йодную сетку, пить травки, и всё пройдет. Ведь она объявила себя врачом, хотя, как выяснилось в дальнейшем, кончила лишь санитарный факультет. Кто знает — тот поймет. Как можно было взять на себя единоличную ответственность за лечение такого пациента? Как удалось морочить всех столько времени?

Алексей Федорович не выздоравливал и всё терпел. Елизавета стал делать уколы сульфокамфокаина. Как в старину делали. И делала эти безболезненные уколы так, что старик стонал. Лена это видела и мне рассказывала, как не выдержала и сказала Азе Алибековне, думавшей, что так и должно быть, чтобы Елизавета прекратила его мучить. Последовал разговор, стала делать аккуратней, но что могли эти уколы против воспаления легких?

Одним словом, в Москву Алексей Федорович приехал больным. Тут Аза Алибековна ударила во все колокола. И врачи приглашались, и консилиумы собирались. Не помогало ничего, болезнь запущена, уже пневмония и нужна госпитализация. Все-таки в тот раз врачи отстояли. Но домой выписали — идти не мог. Ребята до машины несли его на стуле, и так же внесли по лестнице в квартиру.

Опять началась борьба за Алексея Федоровича. И Елизавета Владимировна тут, помогает. Обязанности распределялись так: Нина Александровна Хрусталева закупала продукты; я готовила еду, а иногда, когда Аза Алибековна уезжала в университет, сидела с Алексеем Федоровичем; Елизавета Владимировна кормила его в отсутствие Азы Алибековны и тоже иногда дежурила.

Сначала о дежурствах. С Алексеем Федоровичем можно было немножко разговаривать, но когда он уставал, говорил так: «Давайте перестанем говорить». И мы сидели молча. С Елизаветой все иначе. Однажды Алексей Федорович говорит: «Аза, меня Елизавета Владимировна все время спрашивает. Я ей отвечаю. А тут спросила, что же, я ей лекцию читать буду?» Аза Алибековна это мгновенно пресекла, запретила ей что-либо спрашивать. Имелось в виду, конечно, не бытовые вопросы, а серьезные. Оказывается Елизавета бегала по городу и раззвонила всем, что она с Лосевым сидит, а кому надо что спросить — так пожалуйста. Престиж себе создавала. Какова? А что человек болен, ему тяжело — так это ей все равно.

А с едой еще лучше. Уж так я старалась в меру своего умения, чтобы было вкусно. Даже овощи в суп старалась резать красиво. Вдруг вижу, Елизавета берет налитую тарелку и, болтая какую-то чепуху, начинает все ложкой разминать. Все превращается в какую-то тюрю. И такая сцена. «Вы что делаете?!» — говорю я. «Разминаю», — отвечает она. «Зачем? — заорала я, — Вам что, Алексей Федорович, поросенок

что ли?! Я специально красиво режу!» — «Он же все равно не видит», — отвечает она спокойно, уставя на меня два своих холодненьких глазика. Как я ее не ударила, до сих пор не пойму, но вид у меня, наверное, был устрашающий. Елизавета ужасно струсила.

Потом стала приносить еду обратно на кухню почти не тронутой. Спрашиваю, почему не съел, может быть не вкусно? Отвечает, что он не хочет. В следующий раз пошла сама с ней в кабинет. Смотрю, эта гадина набрала черного хлеба и с каждой ложкой еды дает ему чуть ли не полкуска черняшки. Я же знаю, что Алексей Федорович ест мало и ест все, что дают. Я говорю тихо: «Зачем вы даете столько хлеба?» Елизавета знает, что я при Алексее Федоровиче никогда ничего себе не позволю, и безмятежно так отвечает: «Черный хлеб очень полезен, в нем витамин Б прим». Алексей Федорович молчит. Ну, думаю, змея подколотная, погоди у меня!

Приходит из университета Аза Алибековна, а Елизавета уходит. Выбираю момент, когда Аза Алибековна сюда пришла. Я на кухне, а она в прихожей пол метет. Я ей излагаю проблему, она как-то вяло реагирует, устала, наверное, да и вообще. Тут меня и понесло. Я из кухни: «Что она его черным хлебом кормит?!» Аза Алибековна из прихожей: «Ну и что?» Я из кухни: «Что же, Алексей Федорович себе только на черный хлеб заработал?» А из коридора: «Елизавета Владимировна все для Алексея Федоровича делает. Она из своей пенсии, на последние деньги лекарства покупает!» Я: «Какие?» Она: «Боярышник». Я: «Да знаете, сколько боярышник стоит? Три копейки!» Аза Алибековна недоверчиво: «Ну да... Не может быть». Я: «Вон пузырек, написано — три копейки. Пусть сама черный хлеб ест. А то ему черный хлеб, а сама у вас севрюгу постом ест!» Из-за конфуза с боярышником Аза Алибековна вошла в пике и упрямо заявляет: «Моя севрюга — пусть ест!» А я ехидно так спрашиваю: «А как же святость?»

И тут — о, ужас! Двери и в гостиную и в кабинет открыты — слышим голос Алексея Федоровича: «Перестаньте ругаться! Перестаньте ее ругать! Мне ее жалко». Далее молчание. Аза Алибековна пошла в кабинет, их разговор доносился до меня слабо, тем более, что я пребывала в шоке. Как?! Елизавета его, можно сказать, погубила, а он ее жалеет. Тут открывается разница между

мною, а может быть и всеми нами, и Алексеем Федоровичем. Всё знал и понимал, а всё равно жалел.

А по мне чего жалеть-то? Убить, и то мало. Как-то раз в ванной, где Алексей Федорович не услышит, я опять стала говорить Азе Алибековне, что Елизавета враг, и что надо согнать ее со двора. На все мои речи Аза Алибековна важно так отвечает, что Елизавета занимается геронтологией, и что уж сколько стариков московских прошло через ее руки — не счесть. Я спрашиваю: «И где же теперь эти старики?» — «Умерли», — говорит Аза Алибековна и, судя по выражению лица, какое-то сомнение закрадывается ей в душу. — «Вот видите», — торжествую я. Конечно, все смертны, но поспособствовала, что и говорить.

Понятно, что в тот момент было не до Елизаветы, но потом, сразу после похорон, Аза Алибековна отправила ее восвояси. И тогда наша волшебница бросила скучных стариков и окунулась в другую деятельность. В это время в Москве возобновилось или вновь образовалось дворянское собрание. Николай Николаевич Бобринский был избран не то председателем, не то предводителем. А Елизавета при нем секретарем. Дворян объявилось — страсть! Всем хотелось. Елизавета сидит, принимает документы и вместе с Николаем Николаевичем их проверяет. Придет какой-нибудь Голицын или Шереметев, а она и проверяет. Я говорю: «Аза Алибековна, а ее документы проверяли? У нее, небось, нет ничего, кроме справки с санитарного факультета. Вы бы позвонили Бобринскому, чтобы ее документы проверил. А?» Только смеется Аза Алибековна. Лет десять назад по ТВ объявили, что теперь Алла Пугачева тоже графиня. Жаль, Елизаветы нет, она бы ее вывела на чистую воду.

Все это немножко смешно, но в то время нам было не до смеха. Елизавета, наш лилипут-геронтолог, все продолжала функционировать и помогать. Врачи назначили Алексею Федоровичу дышать кислородом. Купили подушки, я пошла в аптеку, их наполнили, и Аза Алибековна с Елизаветой отправились в кабинет, делать процедуру.

Через несколько дней вижу, что подушки все надутые, как раньше. Спрашиваю, и Аза Алибековна говорит, что Елизавета Владимировна

сказала — нужно кислород вдыхать раз в день по три вдоха. Товарищ Гиппократ сказал, знает всё.

Вскоре осталась я с Алексеем Федоровичем. Аза Алибековна приказывает, что делать: вот лекарства и три вдоха кислорода. Мы сидим, я предлагаю поделать дыхательную гимнастику, лекарства. Он всё делает. Ох, и терпелив же был! Всегда старался никого не беспокоить. А потом, смотрю, никнет, как будто задремывает и голова клонится. Знали, что гипоксия, а это страшная вещь. Подошло время кислород дать. Он вдохнул три раза и ничего не изменилось. Я говорю: «Алексей Федорович, давайте подышим хоть одну минуту, может быть лучше будет?» Он согласился. Стал дышать, прошла минута, кончили. Смотрю, у него лицо порозовело. Тут я испугалась, мало ли что. А он сидит, вроде бодрее. Пришла Аза Алибековна, я все сказала, как было. Такой шум начался из-за моего самовольства, что я могу погубить и что угодно может быть. Я испугалась. Алексей Федорович молчит. Но потом она спросила у нормальных врачей, они сказали, что надо три-четыре раза в день дышать по половине подушки. И стало легче.

Последний раз видела Елизавету уже в середине 1990-х. Умерла Софья Владимировна Бобринская, благодетельница Елизаветы. Отпевали у Ильи Обыденного. Там служил старый о. Владимир, все дворянство окормлял. Все и собрались. Для Софьи Владимировны во время панихиды даже царские врата открыл. Я работала на Остоженке и в обед сумела забежать ненадолго. Близкие стояли у гроба, остальные подальше, а в последнем ряду я. Вдруг сюда, назад пробивается спереди существо, малютка в шляпе (грибок, но поганый). Смотрю — Елизавета. Протягивает свечку и держит за руку девочку лет десяти. Смотрит смело своими льдинками, в таком месте и не боится. Дала я ей огоньку, она постояла передо мной минутку, да и ушла на лавочку беседовать с какой-то дамой.

Теперь уж Елизавета Владимировна, наверное, умерла. Еще римляне говорили — о мертвых или хорошо или ничего. Но я полагаю, — надо правду. Вот такая правда и получалась. Но большинство людей около Алексея Федоровича были хорошими, помогали все. Как только появлялась новая идея в лечении — все бросались доставать то, что требовалось.

И все-таки сдавал позиции Алексей Федорович, слабел. Всегда обедал в столовой, потом сидел в креслице у двери, потом шел в кабинет отдыхать. Бегу как-то мимо открытой двери, он уже сидит на своем месте за столом, ждет завтрака. Остановилась на мгновение и вижу, что губы шевелятся беззвучно и крестится. Я быстро ушла, а то получается, как будто подсматриваешь.

Однажды он в столовую не вышел. Это знак ухудшения. С тех пор ел в кабинете. Слабел, все больше лежал, но за письменный стол садился до последнего дня. На капельницах жил. Алеша Бабурин мне сказал, что не надо бы этих капельниц, зачем его мучают? Алеша врач, он понимает, а я обыватель. Я стала страстно возражать, что надо капельницы, надо всё, вдруг какое-нибудь чудо. Так мы и не сошлись во мнениях. Капельницы делали, и всё как обычно — никак.

За полгода до кончины (примерно в ноябре 1987 г.) был такой случай. Алексей Федорович стал чувствовать себя чуть-чуть лучше. Аза Алибековна собиралась в университет после обеда. За столом в гостиную сидела Елизавета Владимировна Селиванова, листала без всякого смысла «Столп...» Флоренского; она должна была сидеть с Алексеем Федоровичем в тот день. Сам Алексей Федорович, как всегда после обеда, сидел в старом низком кресле у дверей, на коленях черный кот Мауриций. Я должна была отправляться на кухню, но что-то затормозилась около Алексея Федоровича. Он сидел низко, ну, уж так и получилось, что встала я около него на колени, поцеловала ему руку и говорила, что вот, мол, вам лучше, еще и столетний юбилей будем справлять, надо поправляться. Стала говорить, что вот Бог дает вам долгий век и это неспроста. А потом меня что-то понесло. Говорю ему: «Вы — божественный ум. У Сократа и Платона тоже ближние были, они их так не видели, как мы теперь. Так и с вами». Алексей Федорович молчал, а потом говорит: «Вы добрая». Все во мне оборвалось: значит, не верит, что выздоровеет. Потом с чувством так стал говорить: «У меня еще столько не сделано, столько еще надо написать, столько интересных тем. У меня еще есть так много, что сказать». Так он говорил, надеясь выздороветь. Поганка Елизавета

Владимировна, которая во многом виновата, хотя Алексей Федорович был с ней снисходителен и жалел ее, смотрела на меня выпучив глаза. Эта домашняя сцена была необычная, но она была, и из песни слов не выкинешь.

Чувство долга у Алексея Федоровича было поразительное. Практически до конца занимался с аспирантами. Везде гулял грипп, и мы все очень боялись за Алексея Федоровича. Аза Алибековна предложила пока позаниматься вместо него, но он отказался. Тогда придумали вот что: на блюдечках с водой расставляли везде резаный чеснок, чтобы обезопаситься. Бывало Аза Алибековна на больших скоростях прибирается, Алексей Федорович спрашивает тему сегодняшних занятий, а она на лету заглядывает в книги и говорит ему. Я выглядываю в окно и наблюдаю, как стайка аспирантов собирается у подъезда. Потом все вместе идут, звонят в дверь, раздеваются: в прихожей целая куча пальто, а на полу — обуви. Рассаживаются, уже из коридора слышу голос Алексея Федоровича, и все идет своим чередом. Сколько ни просили не заниматься, всегда помолчит и скажет: «Ну, что же делать! Надо заниматься!» А ведь для него грипп в то время был смерти подобен. Так всегда и во всем: надо — значит, надо.

Но, конечно, писать как прежде уже не мог, но и смириться с этим долго не хотел. Аза Алибековна пускалась на разные отговорки. При мне как-то был такой разговор.

А.Ф.: Почему меня не пригласили в сборник (Института философии)?

А.А.: Почему, почему! Они там ругают Франка. Вы хотите в этом участвовать? Ведь Семен Людвигович вас любил, и вы относились к нему нежно. Что же, вы хотите принимать участие в таком сборнике?

А.Ф.: Да нет, конечно.

А.А.: Ну вот, а говорите — не пригласили.

Франка действительно ругали, но несчастье было в том, что в последний год жизни Алексей Федорович так болел, что работал уже с трудом.

И другой характерный эпизод. Как-то принесла Аза Алибековна почту, в том числе и «Новый мир». Алексей Федорович тихонько как-то спрашивает: «А про меня там что-нибудь есть?» Аза

Алибековна отвечает: да нет, Алексей Федорович, вы же туда ничего не давали». Всегда и до самого конца хотел, чтобы его печатали. Что совершенно естественно, потому что — это и была жизнь Лосева. Но болезнь и гипоксия побеждали.

Словно предчувствуя, что такое может случиться, в последние годы перед этим Алексей Федорович работал буквально наперегонки со временем. Была цель закончить многотомную «Историю античной эстетики». И цель эта была достигнута. Работая без отдыха, без отпусков и перерывов, Лосев написал последний том «Итоги тысячелетнего развития», а это 110 печатных листов, т.е. больше тысячи страниц. Дело всей жизни было осуществлено. Но ценой огромного напряжения сил.

Помнится на Пасху (наверное, это 1986 год) сидели в гостях у Алексея Федоровича, все свои. Шла такая светская беседа. И тут же была Лена Дружинина, тогда секретарь Алексея Федоровича. Он выпил чаю, посидел еще немного и сказал Лене, что надо идти работать. Все загомонили, мол, на Пасху кто же работает? Алексей Федорович встал и сказал: «У меня нет времени. А этот общий разговор может продолжаться до бесконечности. Я пошел в кабинет, и ты, Лена, приходи». И ушел.

Поэтому весной 1988 г., незадолго до смерти, когда Алексей Федорович совсем не мог работать — это ощущалось как трагедия. Однажды, уж не помню точно, в апреле или начале мая, но тепло и солнечно, мы были с Алексеем Федоровичем в кабинете. Аза Алибековна уехала в университет. Мне нужно было что-то сделать на кухне, я и говорю: «Алексей Федорович, вы посидите здесь, а я минут через десять к вам приду». Он отвечает: «Да, конечно, посижу. Что теперь делать остается? Только сидеть». И такая горькая ирония была в его голосе. Очень переживал, что не может работать, хотя читала ему Аза Алибековна до последних дней жизни; слушал и обсуждал с ней прочитанное.

Странное дело, я видела, что дело очень плохо, но на самом доньшке души все-таки не верила, что Алексей Федорович умрет. Не знаю почему, но чувство было такое. Это теперь некоторые события вспоминаются с определением «последний», а тогда так не думалось.

В рождественский вечер 1988 г., последнее Рождество для Алексея Федоровича, были на Арбате гости, в том числе сестры Постоваловы. Лидия Ильинична пошла к Алексею Федоровичу в кабинет, поздравила с праздником, спросила о самочувствии. Алексей Федорович ответил ей: «Умираю, да вот что-то долго. Молись за меня, чтобы я до конца остался человеком». Я тогда не понимала как следует этих опасений. Теперь уж насмотрелась, как люди в пятьдесят лет без мозгов остаются, а уж далее... Алексея Федоровича в его девяносто четыре можно было считать уникальным человеком; ясность ума не покинула его до последних дней.

Как тяжело было Алексею Федоровичу! И все бились за него, как лбы. Главным человеком, как и всегда, была Аза Алибековна: капитан на мостике этого корабля, мозг и мотор нашей борьбы за Алексея Федоровича. Еще раньше, когда было совсем плохо с легкими, она легла вместе с Алексеем Федоровичем в больницу на Спортивной, в отделение пульмонологии. Устроили им на двоих бокс. Алексей Федорович был на капельницах. Все приходят и уходят, а она неотлучно при нем. Я тоже посетила их в этой больнице. Пустили на несколько минут. Алексей Федорович спрашивает меня, не слышала ли я что-нибудь о томе, идет ли издательское дело? Я не знаю, и он замолкает.

И в больницу ребята вносили Алексея Федоровича на руках, и обратно домой поднимали так же, не мог он идти. От смерти отстояли, а сил идти у него не было. Ведь каждую мелочь, каждое действие надо было организовать. Помогали все, но организовывала Аза Алибековна — всё шло от нее и через нее.

Все медики, которые соприкасались с Алексеем Федоровичем, уже не уходили, оставались до конца. Собирались консилиумы, своего рода мозговые атаки, ищущие ответ на один вопрос: что делать, что предпринять? Приходила пульмонолог, зав. отделением больницы на Спортивной Маргарита Дмитриевна Раевская. Замечательный специалист, врач-терапевт Георгий Александрович Самарцев консультировал Алексея Федоровича, конечно, бесплатно. Все время приходила врач из академической поликлиники Марина Александровна Комиссарова, которая быстро делала анализы. Алеша Бабурин, тоже врач-терапевт, участвовал в консилиумах, делал

Алексею Федоровичу массаж и, когда надо, инъекции. И еще приглашались врачи на консультации. Была надежная и опытная медсестра Александра Кирилловна, которая ставила капельницы.

Когда-то, задолго до болезни, Алексей Федорович мне сказал со своей особой иронической интонацией: «Знаешь, стариков теперь не лечат! Кому они нужны?» Видно, кто-то рассказывал ему, как обстояло дело на этом фронте. На Арбате о чем только не рассказывали, каждый шел со своим. Но в случае с Алексеем Федоровичем было совсем не так. Повторяю, что все дрались за него, как львы. И больше всех, забывая себя, Аза Алибековна.

После стали сражаться за гемоглобин. Я стала проповедовать, что надо давать Алексею Федоровичу морковный и гранатовый соки. Постепенно анализы крови улучшились. Говорю ему после завтрака: «Алексей Федорович, теперь скоро поправитесь». Он ответил: «Видите, уже целый год болею, и не лучше. Это указывает на другое». Видимо, он трезвее всех оценивал ситуацию.

Потом я стала агитировать, чтобы кормить Алексея Федоровича калорийно, чем-то особенно хорошим, чтобы появились силы. Так мне казалось. Дело в том, что Алексей Федорович всегда ел очень простую пищу: грибной или овощной суп, винегрет, рыбу и т.п. В этом доме о еде особо не раздумывали: всё работа да работа, всё некогда меню обдумывать. Когда только пришла на этот пищевой фронт, говорю Азе Алибековне: «Давайте сделаем котлеты куриные настоящие, не покупные, а из курицы». Ладно, купили курицу, сделала. Говорю, что вот, мол, Алексей Федорович, котлеты куриные настоящие; курица ободрана и провернута через мясорубку. А он отвечает: «Давно я куриных котлет не ел. Наверное... (пауза) лет десять или пятнадцать». Стал есть — говорит, вкусно. Ну, это, конечно, чтоб мне приятное сказать. А потом стал вспоминать, как до революции делали бифштекс рубленый. Никаких мясорубок. Было два больших специальных ножа, мясо на доске и кухарка двумя ножами рубит, пока измельчит. Стук на весь дом. Кошки здесь, глаза горят. Такой громкий процесс, потом жарят, и бифштекс на столе.

Глупость, конечно, но мне казалось, что если кормить чем-нибудь таким, то и силы вернутся. Аза Алибековна говорит: «А если склероз

будет, тогда что?» Я говорю: «А если умрет без склероза, лучше будет?» И было решено претворять в жизнь поваренную книгу.

Была изготовлена телятина тушеная в сливках. Взяли мы порцию этого тельенка и пошли в кабинет. Аза Алибековна говорит: «Вот, Алексей Федорович, сейчас вы будете есть телятину тушеную в сливках. Это очень вкусно и полезно. Вот, попробуйте!» Он стал есть. Аза Алибековна спрашивает: «Вкусно?» Алексей Федорович отвечает: «Никак. Как вата». Мы переглянулись. Но решили не сдаваться. Была изготовлена лососина запеченная. Опять сцена. Результат тот же. Мы продолжали эту свою деятельность, но, как видно, эта еда не помогала.

Был период, когда мне казалось, что Алексею Федоровичу стало лучше, я стал говорить, что хорошо бы ему послушать музыку. У меня было ощущение, что Алексей Федорович всё куда-то удаляется, как будто он за стеклянной стеной; мне казалось, что музыка его приведет обратно. Аза Алибековна купила новый тюнер, но Алексей Федорович от музыки всё отказывался. Как-то раз, когда он был в столовой после обеда, сидел в своем низком кресле у двери, я стала говорить такие речи: как бы хорошо послушать «Снегурочку» (это его любимая опера), мне же некогда ходить в театр, а тут он бы послушал и я с ним вместе. Алексей Федорович все молчал, а потом сказал со значением: «Вы хитрите. Нет, не надо. Нет, еще рано, еще подожду». Эти разговоры у меня записаны; только тогда я не поняла, чего он ждать будет. А теперь, через годы ясно, что он уходил. Он уходил из жизни, уходил от нас. Готовился, молился. Наверное, подводил итоги. А мы тут суетились с телятиной и «Снегурочкой». Но ведь и мы не могли иначе!

Алеша Бабурин приходил регулярно делать Алексею Федоровичу массаж, и в процессе этого, конечно, с ним разговаривал. Алеша поступал умно, приходил домой и, несмотря на усталость, записывал эти разговоры. Это ему Алексей Федорович сказал: «Хотел служить Богу, а был два раза женат». И как-то, много времени спустя, на одном из памятных вечеров на Арбате, Алеша по записке зачитал нам определение религии, данное Алексеем Федоровичем. Очень интересное. Характерно, что вскоре после смерти Алексея Федоровича Алешу рукоположили в сан священника, и стал он отцом Алексеем Бабуриным.

В этот последний период жизни Алексея Федоровича очень ярко высветилось одно его качество — деликатность. Так ему было тяжело физически и морально грустно, но он все терпел и старался никого не обидеть. Елизавета Владимировна Селиванова, которая иногда дежурила около Алексея Федоровича в отсутствие Азы Алибековны, много раз настойчиво предлагала ему исповедаться. И каждый раз Алексей Федорович деликатно отвечал, что надо подумать. А она все приставала. Позже Алеша Бабурин уже один раз предложил Алексею Федоровичу исповедаться и сказал, что приведет священника почти такого же возраста, как сам Лосев. Ответ был тот же: надо подумать.

Были, видимо, у Алексея Федоровича какие-то свои соображения, от которых он так и не отступил. Не сказал же он никому из нас при жизни, что он монах в тайном постриге. И унес эту тайну с собой в могилу. Это потом все иными путями узналось, по документам. Редкостная это цельность, ясность, честность (от слова честь!); интимные отношения с Богом отличали Алексея Федоровича. Сказал Азе Алибековне — умрет, куда его из дома не возить и в церковь не ставить. Любой обрядоверец воскликнет: «Что?! Как?!» А никак. Бог все устроит. Церковь к Алексею Федоровичу пришла сама. Домой. Поневоле вспомнишь жития древних святых.

Последняя Пасха в жизни Алексея Федоровича была отпразднована в меру его возможностей при такой тяжелой болезни. Перед этим он специально мылся, брился и держал пост один день (хотя врачи категорически вообще запретили); целый день до ночи сидел в кабинете. Молился. Ночью разговлялся освященным куличом. Все было кратко, но абсолютно ясно. И теперь, когда панихиды на его могиле зачастую начинается пением «Христос Воскресе», я всегда вспоминаю ту его последнюю Пасху. Мы все суетились, готовились к празднику, гонцы бежали в разные места с поручениями, а он сидел один и молился.

Странная и смутная во всех отношениях была та весна 1988 г. Для меня посреди всех этих забот и горестей события в стране были как дымкой подернуты. Однажды пошла за кислородом в арбатскую аптеку. Я заметила, что когда подушки надутые несешь, то люди смотрят с ужасом и расступаются. Это понятно, такие подушки — признак беды, кто-то на краю. Выхожу из аптеки, прохожие большими

глазами смотрят на подушки, а я со страхом наблюдаю такую картину. По Арбату, от Арбатской площади идет большая колонна крепких парней с флагом, чеканит шаг (как оказалось, это были «люберы»), а по Арбату же от Смоленской, навстречу первой такая же колонна с флагами (оказалось, это «солнцевские» братки). И встретиться эти колонны должны скорее всего здесь, где я нахожусь. Я испугалась, тут не только подушки, голову отшибут. Я быстро влезла на приступки аптеки и думаю: если что, я сразу в аптеку нырну. Весь Арбат встал и я стою. Тишина стала необыкновенная, только «люберы» топают и прут упрямо. А потом вдруг те, «солнцевские», наверное, все-таки по команде, резко свернули в переулок около театра Вахтангова. Затем «люберы» как монолит прокатили мимо меня. А после уж и я пошла со своими подушками в совершенном трансе. Это были первые ласточки перестройки, приметы нового времени. Свобода. Уже потом, после срежиссированного и фальшивого 1991 г., после тоже ловко устроенного кровавого расстрела Белого дома в 1993 г., стало понятно, что «люберы» и прочее не такие уж страшные факты. Тогда было понятно только, что старое время с его хоть каким-то порядком уходит, и по Арбату марширует новое время. И каким оно будет? Этого мы тогда не знали. А с Лосевым в то время уже невозможно было говорить об этом, спросить его. Не до того. Это не значило, что Алексей Федорович не мог ответить; просто не очень гуманно спрашивать человека о политике, когда он так болен.

Ну, а подушки через какое-то время облегчили состояние Алексея Федоровича. Главное, что приходила медсестра и ставила капельницы Алексею Федоровичу.

Потом кто-то вбросил идею, что есть такое средство «катрэкс», всё лечит, даже онкологию. Добывают его из акульей печени. И все пришло в движение. Грузины пообещали прислать. Потом всё нет, звонят и говорят, что море штормит и все акулы от берега ушли. Там водятся какие-то маленькие акулы. И была лаборатория, которая изготавливала этот катрэкс. Наконец шторм кончился, акулу добыли,

катрэкс приготовили и кто-то провез его в Москву за пазухой (нельзя было его охлаждать). Врачи дали добро, и стали делать.

Самое странное, что с этого дня у меня возникло как будто чувство невесомости, какая-то легкость ненормальная внутри и пустота в голове. Помню, именно в эти дни стою на лестнице и, как всегда, курю. Выходит из квартиры врач поликлиники Минздрава Марина Александровна Комиссарова и спрашивает меня, поеду ли я с Лосевым и на дачу. Я говорю, что должна ехать на свою дачу и спрашиваю ее прогноз на этот катрэкс. Врач мне отвечает буквально следующее: организм у Алексея Федоровича сейчас как будто замер и, если найдется в нем точка опоры, то включится снова и всё будет хорошо. Да видно, не нашлось такой точки опоры. Всё повисло в какой-то пустоте. И сейчас тяжело вспоминать.

Последний день жизни Алексея Федоровича для окружающих был обычный. Аза Алибековна покормила его, потом был звонок из издательства, что пришел «сигнал» тома — Алексей Федорович обрадовался, потом она ушла в университет, а я осталась. Дела делаю и в кабинет все время захожу. Он долго спал. А потом, ближе к вечеру, проснулся и несколько раз спрашивал: «Аза пришла?» Я все отвечала, что нет. Потом вдруг звонок, он оживился, а я пошла открывать. Вернулась, а он опять: «Это Аза пришла?» Я говорю, что это Алеша пришел, вам массаж делать будет. Пришел в кабинет Алеша, возник какой-то обычный короткий разговор о самочувствии и прочем.

Вдруг опять звонок, я пошла открывать. Возвращаюсь, а он опять: «Это Аза пришла?» Я с облегчением отвечаю, что это она пришла. Приходит в кабинет Аза Алибековна с большим букетом ландышей и говорит: «Вот, Алексей Федорович, вам Валя Завьялова ландыши прислала!» Он очень оживился, улыбнулся, но, не расслышав, спросил: «Что, Валя Завьялова пришла?» «Да нет, — отвечает Аза Алибековна, — Валя не пришла, а прислала вам цветы, ваши любимые ландыши. Натe вот, понюхайте!» На мгновение цветы накрыли лицо Алексея Федоровича. Потом Алеша стал делать массаж, а я поставила около Алексея Федоровича ландыши в воду и пошла домой.

Вышла во двор, тишина и пустота. И вдруг подумала: кто летом умирает, тому много цветов приносят. Откуда такая мысль? Почему? Тряхнула головой, усталость гнет, и поплелась к метро.

Утром, в 6 часов 20 минут, будит меня муж и говорит, что меня к телефону, спрашивает какая-то незнакомая женщина. Я подхожу и тоже не сразу узнаю голос Азы Алибековны. Она говорит: «Алексей Федорович скончался». И дальше рыдания. Я говорю, что сейчас приеду, но она уже кладет трубку. Хожу по квартире в ночной рубашке, то туда, то сюда и дрожу, а зубы у меня стучат. Никогда со мной такого не было. А потом смотрю — ужас! — полчаса прошло. Бросилась одеваться и — на Арбат. День был выходной, да и рань такая, на Арбате только дворники и милиция. Я бегу и плачу, и милиционеры стали ко мне приглядываться. Я думаю, плакать нельзя, а то заберут и я не дойду.

Прибежала и звоню. Открывает Аза Алибековна, а за ней Елизавета стоит. Вдруг Аза Алибековна как зарыдает в голос и стала повторять: «Я всем все расскажу! Всю правду расскажу!» Я онемела, и только один раз спросила: «Кому?» — «Всем!» — воскликнула она. Когда вышла ее книжка о Лосеве, вот тогда я и вспомнила эту сцену. Сдержала слово, рассказала. Мы, кроме Елизаветы, были точно не в себе. Но для меня в прихожей еще не было факта смерти.

Пошла в кабинет, а там Алексей Федорович лежит уже в костюме. Около него Игорь Маханьков и Лидия Ильинична Постовалова. Пока я дома по-идиотски дрожала, да зубами стучала, они успели его обмыть и одеть. Сразу Лида взяла Псалтырь и стала читать. А я всё приставала: «Лида, сядь!» Ведь знаю, что по покойнику стоя читают, а тут как заклинило. Алексею Федоровичу Псалтырь за три дня два с половиной раза прочли, желающих было много.

Но не это главное, это всё внешнее. Главное — это лицо Алексея Федоровича в тот момент. Живое его лицо, но выражение другое. Такого выражения лица я никогда прежде не видела. Черты лица смягчились и покой. Перешел черту, но еще здесь. Не могу описать, хотя в памяти ярко до сих пор. Вот тогда, в тот момент надо было фотографировать это необыкновенное лицо. Да где уж тут. Потом, для всех, в гробу лежал человек-сова, с орлиным профилем, с замкнутым выражением лица, в шапочке и очках.

Чуть позже, как-то одновременно приехали о. Владимир Воробьев и Павел Васильевич Флоренский с Таней Шутовой. Павлу в дверях стало плохо, и пришлось давать ему валокордин, а потом они пошли в

кабинет, где о. Владимир служил литию. Вышли оттуда все заплаканные. Я почему-то в кабинет не пошла. Лития для мертвых, а это невозможно. Я пребывала на кухне, и некоторые из новоприбывших приходили за каплями. Так горе перемезалось суетой.

Вскоре прибыли с кафедры классической философии. Сели за стол в столовой, стали говорить о погребении и звонить, сообщать всем ближним печальную весть. Исай Нахов стал рассуждать о том, как следует копать могилу, а женский пол стал возражать. Нахов обозлился и говорит им: «Ни хрена вы не понимаете!» Но слово употребил покрепче, дамы запищали: «Что это вы, Исай Михайлович, ругаетесь?!» Он немножко сдал назад.

Потом стали говорить, что надо отправить телеграммы. А у меня ни к селу, ни к городу полез в голову Булгаков со своим Берлиозом. Я попросила телефон и позвонила Вагнеру. А тот в хорошем настроении, весело стал что-то говорить. Сказала ему, что Лосев умер; он помолчал и сказал, что сейчас пойдет и отправит телеграмму.

Да... Потом пришла Аза Алибековна и сказала, чтобы все сидели, а она пойдет деньги с книжки снять. Валя Завьялова предложила ее проводить, но Аза Алибековна сказала, что она одна может и ничего не случится. Потом ее убедили, что с Валею безопаснее, и они пошли.

А тут началась эпопея с телеграммами. Каждые пять минут звонок в дверь. Почтальон. Потом я дверь оставила приоткрытой и, как приносили, расписывалась. Потом почта сообразила. Стали носить с интервалом, но пачками. Печальная весть расплзлась по городам и весям.

Когда вернулась Аза Алибековна с деньгами, то бытовые хлопоты продолжились. Пришел заморозчик, и они с Алешей Бабуриным пошли в кабинет. Там что-то делали, а потом Алеша вынес пакет с чем-то и сказал, чтобы я выбросила в контейнер. Я отказалась наотрез, и он пошел выносить сам. Выходит Аза Алибековна, а я ей говорю: «Аза Алибековна, а вдруг он жив, а они что делают?» «Ну да, живой. Мертвый уж точно. Какое там живой», — говорит она. Все-таки мы не в себе были. Приехал снова о. Владимир. Они ушли в спальню.

Вдруг опять звонок. Открываю, стоит мужик и говорит, что привез гроб, распишитесь. Я в спальню, там сидит Аза Алибековна и горько

плачет, а о. Владимир ей что-то говорит. Я извинилась и говорю: «Аза Алибековна, там гроб привезли. Я боюсь». Она вдруг отвечает: «Я тоже боюсь». Тогда о. Владимир встал, говорит, что не надо бояться; это же просто домовина, и он сейчас всё сделает.

Гроб оказался красный. Поставили на стол, а потом ребята (Гасан Гусейнов и еще кто-то, не помню) на одеяле перенесли Алексея Федоровича и положили в гроб. Всё сделали и поставили вчерашний букет ландышей. Аза Алибековна вышла из спальни, увидела — и зарыдала неудержимо. И тут вдруг Алеша Дунаев, правнук знаменитого о. Иоанна (Кедрова) из Сокольников, в то время еще совсем юный, каким-то звонким голосом сказал: «Не плачьте, Аза Алибековна! Алексею Федоровичу теперь хорошо! Он с о. Иоанном и о. Павлом!» Алеша имел в виду своего прадеда и о. Павла Флоренского. Аза Алибековна перестала рыдать, но все равно тихо плакала.

Накануне смерти Алексея Федоровича позвонил из издательства «Искусство» Володя Походаев, редактор его последнего тома «Истории античной эстетики», и сказал, что пришел «сигнал». Алексей Федорович обрадовался. Сигнал — это, значит, тираж идет, это десять тысяч экземпляров; можно не бояться, книга есть. Аза Алибековна попросила принести «сигнал» Алексею Федоровичу. Так он любил книжку свою в руках подержать, да чтобы рассказали ему что, где и как сделано. А Походаев говорит: «Не могу, у нас сейчас совещание будет». И не принес.

Вот в тот момент, уже при гробе, Аза Алибековна говорит: «Пусть Походаев сигнал принесет и отдаст». Я говорю, как же он отдаст, когда Алексей Федорович умер? Она упрямо говорит: «Вот пусть и отдаст!» Я толкую, что он придет, увидит на лестнице крышку гроба и все поймет; там Миша Нисенбаум со своей молодой женой к этой красной крышке черный крест из лент пришивали. Аза Алибековна вышла на лестницу и Мишу с женой и крышкой отправила на площадку третьего этажа, а потом позвонила Походаеву и обычным голосом попросила принести сигнал Алексею Федоровичу. Всем приказано из коридора убраться. Приходит Походаев, она здоровается, приглашает пройти. Он как будто почуял что-то, стоит. А она его зовет любезно. Двери в

столовую настешь. Он вперед, она за ним. А мы с Валей Завьяловой сразу из кухни вышли и стоим сзади.

Походаев стоит перед гробом с книгой в руке, Аза Алибековна говорит: «Ну, что же вы? Отдавайте!» Валя мне тихонько говорит: «Вот хам! Стоит, подбоченился...» Я говорю: «Нет, Валя. Это он в шоке. Видишь, у него голова трясется? Когда отца хоронил, тоже так было». Надо сказать, что в эту пору мы с Походаевым поссорились, именно из-за Лосева, и уж года два не общались (это потом, уже в 2000-е годы, пожалела — стала ему звонить). Тут за его спиной тихонько прошла в кабинет, а туда его Аза Алибековна привела. «Что же, — говорю я, — заплатишь Лосеву 40%?» Хотя и в шоке был, а начал вилять. Что, дескать, он не в силах, да не его власть. Да ведь всё по закону, ты — редактор! Надо только настоять и проследить. Лучше старику памятник поставить, чем им отдать. Это же заработанное. Ну, когда в соседней комнате гроб, очень-то не разговоришься. Деньги заплатили, но много позже.

Я Азу Алибековну не осуждаю за такой экшн. Не каждый может так поступить. Это наказание соответствующее, за всё. Книгу положили на стол к изголовью. Лишил старика последней в жизни радости и глазом не моргнул. Конечно, никто не знал, что она последняя. Но все равно, нет таких совещаний даже в политбюро, ни тем более редакционных летучек, которые стоили бы радости Алексея Федоровича. Это всё от недостатка любви.

После выхода «Эстетики Возрождения» стали Лосева все клевать, кому не лень, в том числе в 1984 г. и «маленький титан» — членкор В.И. Рутенбург из Ленинграда. Аза Алибековна попросила Походаева как редактора «Истории античной эстетики» Алексея Федоровича написать ответ на статью Рутенбурга, поехать к нему в Ленинград и разобраться с ним, растолковать ему его заблуждения. Какое там! — замычал Походаев и в кусты. Пришлось мне писать, а он снес в издательство. Рецензия была конкретная, уличающая вырывание из контекста, передергивание, и, вообще, злая. Походаев мне потом говорит: «Надо же, какой у Азы стиль. Я не знал». Молчу и думаю — дурак ты, даже своих не узнаешь... Почетом большим у знакомых интеллигентов пользовался: как же — редактор самого Лосева! Приятно. А не защитил.

Попрекали Лосева за «Эстетику Возрождения» и после смерти, когда он уже себя защитить не мог. Тут Карл Кантор отличился, а потом уже стар стал — энергия иссякла. Тем все дело и кончилось, а осадок остался. В начале 1990-х другие молодцы (в том числе потомок Шпета, К. Поливанов) стали кричать, что Лосев — националист и антисемит, что его вообще издавать нельзя. Лосева-то издавать будут, а их кто через двадцать лет вспомнит?

Замечательный Саша Воронин, великолепный Юра Кашкаров всегда стеной стояли за старика. Володя Бибахин, чудак, который однажды в редакции, прижавшись к вешалке со своим огромным портфелем, всё говорил: «Галина Даниловна, я мыш, я маленькая мыш». Этот «мыш» пошел — по собственному почину и тайно от всех — в университет, к могущественному рецензенту Гращенкову (не знал лично, попросил — пальцем показали), искусствоведу, дождался в коридоре окончания лекции и глаза в глаза объяснил ему, что такое неоплатонизм, кто такой Лосев и что такое его «Эстетика Возрождения». Это было. Володя Бибахин сам лично мне это рассказал. И ведь помогло. Заведующий редакцией отступил. После этого, впрочем, как и до этого случая, Лосева не рецензировали.

А Походаев, редактируя лосевский том, левую работу брал у тех, кто Лосева клевал и всё это издавал. Не защитил. Только пару лет назад, как-то к слову Аза Алибековна сказала: «Сколько же моей крови Походаев выпил!» — «Ведро» — подтвердила я.

Недавно, 20 апреля 2012 г., Походаев, Владимир Сергеевич, умер. Аза Алибековна приказала, чтобы я узнала, отпели его или нет. Потом опять звонит и то же спрашивает. Я говорю, что теперь пой не пой, а умер. А она опять свое: «Это очень важно». Узнала — отпели и погребли около церкви на том же Ваганькове, где все. И опять на язык просится — о мертвых, по-моему, только хорошо или правду. Вот здесь горькая правда, которая не всем понравится, и некоторые (даже догадываюсь, кто) меня осудят. Ничем помочь не могу. Все так и было. Алексей Федорович мне однажды сказал, что предательства прощать нельзя.

А в тот день, когда Аза Алибековна учила Володьку уму-разуму, я думала, как он отреагирует? Может, смертельно обидится? Слава

Богу, хватило мозгов и совести, на похороны пришел и даже в свою очередь (конечно, первую) гроб нес.

Тяжелые дни были для всех и для меня. Обычно не плачу, а тут столько плакала, что стала болеть голова. И на работе всё плакала. Сажу в пустом кабинете и плачу. Заскакивает сотрудник и всполошился: «Что ты плачешь? Что случилось?» Говорю: «Умер близкий человек». — «А сколько ему было лет?» — Отвечаю: «Девяносто пять». — И слышу укоризненное: «Ну-у-у, Га-а-аля...» — Как взвыла в ответ: «Ты не знаешь, какой это был человек!» Испугался моей истерики и ушел.

Конечно, это обычная реакция на такой возраст. А ведь позже Самарцев, замечательный врач, который лечил Алексея Федоровича, как-то сказал, что Алексей Федорович мог бы жить еще лет десять. Говорят, что по генетическим причинам органы человека стареют, а у мозга ресурс на 130 и более лет. Тогда органы изнашиваются, а мозг остается могучим, дух высоким и душа молодой. Такой человек страдает от этого несоответствия. Наверное, с Алексеем Федоровичем так и было. Но вот умер и всё. Судьба.

В кабинете на подоконнике всегда лежала гора рукописей. Алексей Федорович говорил: «Аза, когда меня не будет — издашь» И также говорил: «Когда умру — в церковь меня не носи». Были, видно, свои резоны у монаха Андроника. Все-таки случилось так, что церковь сама пришла к нему домой. Отпевал его о. Владимир Воробьев, хотя в то время церковь запрещала отпевать дома. Но ведь отец священника о. Владимира сидел в одной камере с Лосевым в Бутырках. Так что, чего уж там смотреть на запреты. Служили о. Владимир, о. Геннадий Нефедов, о. Аркадий Шатов (ныне епископ Пантелеимон), о. Александр Салтыков.

На панихиде народу была полна квартира, полон подъезд и даже на улице во дворе люди. У гроба стоял о. Леонид Лутковский из Киева, но не мог служить. Так спешил, что сел на самолет не только без рясы, но и без пиджака; так и стоял в белой рубашке. Жаль его, вскоре молодым умер. Служба была по какому-то особому чину. Вагнер сказал, что никогда на такой долгой панихиде не был. Но выдержал. А вот Пиама Гайденко всё плакала и упала в обморок. Всю панихиду записывали и снимали на камеру. Я зашла в ванную, а там Витя Косаковский весь в

слезах ищет нужную коробку с пленкой. В прямом смысле слова умылся слезами; дала полотенце, утерся и пошел опять наш кинорежиссер работать. Слава Богу, фильм хороший снял, искренний. Одним словом, ближних на поверку оказалось очень много. И горе нас постигло огромное.

Даже черный кот Мауриций повел себя необычно. При жизни он всё лез на колени к Алексею Федоровичу. Как-то раз Алексей Федорович сказал: «Уберите — кот плюется». Этот настырный Мауриций даже в кино попал. Обычно животные уходят от покойника, а Мауриций все дни так и лежал на стуле, то под столом. А после выноса исчез.

Когда настало время ехать на кладбище, то Псалтырь читать прекратили. Но вдруг позвонили с Ваганьковского кладбища и сказали, что нужно задержаться, что-то не готово. Тогда Миша Гамаюнов, а он пианист был прекрасный, пошел в спальню к роялю и часа полтора играл любимые вещи Алексея Федоровича. Это было прекрасно и необычно.

Потом звонок с кладбища, и начался вынос. Как запели и понесли, так слезы и нож в сердце. Уходит, уходит навсегда Алексей Федорович из своего дома, от всех нас. Вышла во двор, а там толпа знакомых, полузнакомых и мне незнакомых.

Смотрю, стоит Саша Авеличев, тогда директор издательства «Московский университет» — высокий, красивый, в синем блайзере, вырвался проводить.

Стоит Саша Михайлов с потерянным видом. Он пришел в числе первых, принес огромный букет красных роз, пришлось ставить его в кабинете в ведро. А потом Саша читал в очередь и днем, и ночью, домой не уходил. Теперь стоял во дворе среди людей, как в пустыне. Я принесла ему его розы, и он очень был доволен. Между прочим, позже выяснилось, что Саша был некрещеный (его за две недели до смерти о. Валентин Асмус крестил; наверное, в рай пошел, за две недели в постели умираючи, чего нагресишь?); стали думать, действительно ли его чтение Псалтыри было. А чего рассуждать? У всех всё по-разному. Вон Миша Нисенбаум, давно крещенный, на каждую панихиду ходит, но стоит один, далеко сзади. Прошлый что ли год говорю: «Миша, ты бы подошел». Он отвечает: «Нет. Я здесь постою».

Стали рассаживаться по автобусам. Елизавета, конечно, залезает в автобус с гробом и близкими. Во второй автобус Походаев садится, наверное, с менее близкими. А мы с Вагнером в третий автобус садимся. Подъехали к Ваганькову, там перед воротами огромная толпа. Я подумала, что это разные люди, оказалось — все к Лосеву.

Гроб понесли на руках до самой могилы, а мы шли в хвосте процессии. Трудно было сообразить, сколько народу идет. Вагнер сказал, что не меньше тысячи. Окружающие все спрашивали, кого же хоронят. Когда процессия дошла до места погребения, то мы оказались очень далеко, а могилу обступила густая огромная толпа. Вагнер попросил: «Давайте не будем продираться туда, мы ведь уже простились». И нам не было ничего ни видно, ни слышно. Только видели Витю Косаковского. Он взобрался на клен и делал оператору знаки рукой, что надо снимать.

Пел соловей. Георгий Карлович вдруг сказал мне: «Знаете, я не ощущаю смерть Алексея Федоровича как трагедию. Он много сделал, умер достойно и с почестями погребается. Если бы и мне такой конец, я был бы счастлив». Вагнера хоронили через восемь лет, он прожил восемьдесят восемь. Хоронили Георгия Карловича на Ваганькове, только зимой. Был сильный мороз, мы не могли подойти к могиле из-за оград и глубокого снега. Но были рядом, на самой Суриковской аллее. И я видела, как над его могилой стояла женщина, которая любила его всю жизнь — Людмила Константиновна Розова, дочь Великого архидьякона Розова. Ее держали под руки, у нее тряслась голова, она всё наклонялась вперед, и казалось, что упадет в могилу.

А пока Вагнер стоял рядом со мной, спокойный и благостный. Подошел Саша Столяров, я представила его Георгию Карловичу; он сказал, что читал статью Саши, они стали разговаривать. Я поняла, что жизнь продолжается прямо на моих глазах. Мне пришлось уйти на службу, а все поехали на поминки в ресторан на Новом Арбате.

Потом мне рассказали о поминках. Всё было, как полагается: вспоминали, горевали, а потом, раз Алексей Федорович умер, собрались разойтись совсем. И тут Аза Алибековна произнесла свое знаменитое: «А работать кто будет? Всем оставаться на своих местах!» И остались, работали, учреждали «Лосевские беседы», боролись за создание Библиотеки, но все это уже без Алексея Федоровича.

Первое время пустота была страшная. Это сравнимо с чувством, когда остро скучаешь по человеку. Но здесь надеяться не на что. Ушел навсегда. Стала брать с собой в дорогу тексты; едешь в электричке, читаешь и слышишь голос, интонации Алексея Федоровича. Вот вроде и пообщались. И бывала невольная мысль — это надо старика спросить, а потом спохватываешься. Поделилась с Азой Алибековной, а она говорит: «Не только вы, и другие мне это говорят. А я всем отвечаю, что вот вы думали, что он будет всегда, а теперь его нет». Книги остались, его дети. Для тех, кто его не знал лично, ничего не изменилось, а для нас...

Могут мне сказать: что же, Алексей Федорович был таким идеальным человеком, совсем без недостатков? Един Бог без греха, значит, и у него были недостатки. Но я их не видела и не знала, поэтому не могу говорить о них. Это объяснимо. Когда человека любишь, то и видишь только хорошее.

Алексей Федорович часто снится Азе Алибековне, она эти сны записывает. Мне записывать нечего, так все помню. Он мне снился очень ясно и знаково всего три раза, хотя думаю о нем часто. Понятно, Аза Алибековна одна, а нас много; ко всем в сны приходиться — замаешься. Однажды она мне звонит и говорит, что я ей приснилась. Рассказывает, что ей приснилось вот что: сидит Алексей Федорович за столом на цветущем лугу под голубым небом. Вокруг какие-то люди — и я тут. Вдруг Алексей Федорович просит, чтобы принесли книгу. Аза Алибековна мне, чтобы я принесла. Я куда-то иду, приношу большую книгу, она дает ее Алексею Федоровичу и видит, что на книге написано слово «Церковь».

Мои сны попроще. Первый сон, на воскрешение Лазаря, вскоре, через год после смерти Лосева: он ожил и пришел домой. Во сне я счастлива, но думаю, как же он без паспорта жить будет.

Второй приснился, когда был капитальный ремонт дома и нелады с тогдашним директором общества Генной Зверевым. Снится мне совсем не цветущий луг, а вокзал. В центре зала сидит Аза Алибековна с какой-то комиссией. Тут же стоит кровать, на ней Алексей Федорович. Я что-то ему предлагаю, а он старается накрыться и мне говорит:

«Какой это мальчик всё с меня одеяло стаскивает?» Тут я проснулась. Вскоре было заседание, на котором и я была, выступала и призывала всех быть заединщиками. Кончилось тем, что Гену сняли, а ремонт продолжился своим чередом.

Третий сон, с 29 на 30 августа 2005 г., удивительный, я его записала. Будто я в незнакомой чужой старой квартире на Садовом кольце, кругом ужасный беспорядок. Я что-то делаю, и вдруг входит Алексей Федорович в демисезонном пальто, в кепке, с тростью в руках. Был он какой-то спокойный, без эмоций. Как будто проверить заглянул. Ровным голосом спрашивает: «Как вы тут?» Мне неловко за хаос, я что-то бормочу. Он дает мне 500 рублей, красненькую бумажку. Я говорю — не надо. Он: «Возьми». И уходит. Я говорю: «Подождите, пожалуйста, секунду. Я вас провожу». Потом смотрю в окно и вижу (это на отрезке от Маяковки к Самотеке, по правой стороне), что на Садовом кольце ни машин, ни людей. Идет один Алексей Федорович, легко идет и впереди троллейбусная остановка. Я бросаюсь одеваться, бегу, добегаю до остановки, а его нигде нет. Исчез.

Что всё это значит? Мне приснилось место, где ни он, ни я не жили. Я жила на Цветном бульваре, но не на Садовом. Говорил со мной во сне как раньше, на «ты». Потом как-то подумалось, что ушел по кольцу. А ведь кольцо — символ вечности!

С тех пор не снится мне больше Алексей Федорович. Имею только то, что осталось в памяти. Иногда вспоминаю, как первый раз увидела Алексея Федоровича в нашей редакции, его первые слова ко мне, его улыбку и ласковый голос, шутовскую интонацию, и как говорит: «Галина Даниловна, вы моя золотистая даль». И мысленно отвечаю: «Старчик мой милый! Я вас люблю, люблю, люблю...»

Москва, 2000 — 2012 гг.

Для заметок

Г. Д. БЕЛОВА

**ПОМИНАЙТЕ УЧИТЕЛЕЙ И
НАСТАВНИКОВ ВАШИХ...**
(Памяти Алексея Федоровича Лосева)

Издательская группа «ГРАНД-ФАИР». Межрегиональный библиотечный
коллектор 109428, г. Москва, ул. Зарайская, д. 47, корп. 2 Телефон/факс: +7
(495) 721-38-56 (многоканальный) www.grand-fair.ru, e-mail:
office@grand-fair.ru

Подписано в печать 28.08.2012. Формат 60х90/16. Бумага офсетная.
Гарнитура Minion Pro. Усл.-печ. л. 7,0. Печать цифровая. Тираж 150 экз.

Отпечатано в типографии «Onebook.ru». ООО «Сам Полиграфист» 127090,
г. Москва, Протопоповский переулок, д. 6. Телефон/факс: (495) 225-37-10
(многоканальный) Сайт: www.onebook.ru